

# ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ОСАДА...

Владислав Крапивин  
**Давно закончилась осада...**

«Автор»

2001

**Крапивин В. П.**

Давно закончилась осада... / В. П. Крапивин — «Автор», 2001

ISBN 5-227-00524-9

Роман связан с Севастополем, который автор считает своей второй родиной. Главные мотивы книги – любовь к героическому прошлому, к флоту, морю и парусам. Элементы фантастики, которые вплетаются в ткань произведения, делают его приключенческие сюжеты еще более напряженными.

ISBN 5-227-00524-9

© Крапивин В. П., 2001

© Автор, 2001

## Содержание

Первая часть	5
Стрельба на Пятом бастионе	5
Николкины мортиры	14
Капитан Гаттерас и кентавры	22
«Ты никогда не станешь моряком...»	30
Южный край	41
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Владислав Крапивин

## Давно закончилась осада...

### Севастопольская фантазия

#### Первая часть

#### Сказки развалин

#### Стрельба на Пятом бастионе

У Фрола был пистолет.

– На пути не стой, у меня писто́ль... – приговаривал иногда тощий тонкошейей Фрол и поглаживал за пазухой кривую рукоять. При этом голос его звучал шутливо и даже ласково, но в прищуренных глазах ласки не было.

Старинное слово «pistoль» очень подходило для этого грозного предмета. Пистолеты подобного образца даже до войны считались устаревшими. Конечно, во время осады ими еще пользовались – и русские, и французы, и, особенно, турки (у тех вообще встречалось оружие времен покорения Крыма), однако пользы в бою от таких кремневых громыхальников было немного. *Что* они по сравнению с шестизарядными французскими револьверами!

Впрочем, и Фролкин пистолет оказался из Франции. На внутренней стороне фигурно выгнутой скобы были различимы буквы: «Paris 1837».

Фрол отыскал этот трофей на пустоши перед бывшим люнетом Белкина, недалеко от кладбища, среди груд мусора и земли. Здесь много чего можно было отыскать. Во время осады русские минеры заложили на этой пустоши фугасы, и сигнал электрической искры в один миг обратил в прах атакующую французскую колонну...

Впрочем, все это Коля Лазунов узнал позже. А со стрельбы из старого пистолета началось его прочное знакомство с компанией из Ботманского погребка.

В тот ноябрьский день Татьяна Фаддеевна впервые позволила Коле погулять одному. До сей поры не решалась: всюду развалины, черные окна пустых домов, изгибы каменных заборов и переулков, где чудится неведомое. И мальчики, которые порой встречались ей, вызывали невольный страх. Неумытые, верткие, с быстрыми уклончивыми взглядами, в немыслимом каком-то платье. Конечно, дети всегда дети, но кто знает, сколько дурного впитали они от здешней неустроенной жизни...

Однако нельзя постоянно держать у своей юбки племянника, которому скоро двенадцать. Все-таки она сказала от калитки:

– Николая, я умоляю. Не ходи далеко и не гуляй долго. На первый раз хватит и получаса...

Думала, он станет ершиться: что, мол, я разве маленький! Но Коля отозвался покладисто:

– Тё-Таня, я только до спуска к дороге и обратно. Не бойтесь, никуда не денусь.

Поправил капитанскую фуражку, простучал сапожками по плитам с подсохшей грязью и свернул (не оглянувшись!) в проход между известняковой изгородью и бугристой туфовой стеной разбитой казармы.

Татьяна Фаддеевна сделала усилие, чтобы не пойти следом. Глянула на приколотые к блузке часики и ушла в дом. Коля же, избавившись от тревожного взгляда в спину, попрыгал вниз по скругленным выступам каменной тропинки.

День был холодный, ветреный, но сухой. Солнце то и дело выскакивало из серых облаков. Кое-где зеленела трава и желтела храбрая упрямая сурепка, но высокие сорняки были уже сухие и серые. Бурьян и полынь... Впрочем, ведь и летом полынь кажется сероватой. Коля сам не видел, но читал про это.

У крепостного палисада  
Седеет древняя полынь...

Он дернул пальцами хрупкий куст, растер в ладонях зернышки, поднес руки к лицу. Полынный запах знойного лета сразу будто пропитал его насквозь. Коля постоял зажмурившись. А когда опустил ладони и открыл глаза, увидел мальчишек.

Разумеется, это были местные жители, хозяева здешних пустырей и переулков.

Идти навстречу Коля не решился. Повернуться и зашагать назад – тем более (хватит с него прежнего малодушия!). Оставалось смотреть, как подходят они. И стараться выглядеть при этом независимо.

Ребят было пятеро. Самый большой двигался посередине. Был он длинный, постарше Коли, в замызганной чиновничьей тужурке до колен, из-под которой торчали серые лохматые штаны. А из них – голые (видать, озябшие) щиколотки. Башмаки были из рыжей кожи, разбитые и чересчур большие. Из ворота тужурки высывалась невытая шея с головой, похожей на покрытое рыжеватым пухом яйцо (шапки не было).

Слева от длинного шли круглолицый татарчонок в бархатной затертой шапчонке, в стеганом рванье до пят и смуглый, верткий мальчишка с быстрым веселым взглядом – про такого говорят «востроглазый». Был востроглазый в косо надетом рваном треухе и в серой, без приметных деталей одежде. И он, и татарчонок – чуть поменьше Коли.

С другого «фланга» двигались двое. Один – видимо, Колин одноклассник, другой – лет восьми. Кажется, братья. Оба круглощечные, светлоглазые, с похожими на кукольные башмачки носами. В аккуратных бушлатиках (наверно, перешитых из взрослой флотской одежды), в мятых матросских фуражках без козырьков – слишком больших, как и Колина «ропитовская» капитанка. Штаны братьев украшали на коленях одинаковые квадратные заплатки, а сапожки были без заплат – грязные, но вполне исправные.

Братья смотрели с любопытством и, кажется, без вражды. Татарчонок – непонятно. Востроглазый – подозрительно. Длинный оттопырил большую нижнюю губу и на ходу щелкал по ней мизинцем.

Остановились в трех шагах. Длинный еще раз щелкнул по губе и прошелся по Коле скучноватым взглядом.

– Ишь какой... Раньше не встречались. Кто таков и откуда взялся?

– Из Петербурга. – Коля постарался говорить независимо, но без задиристости. Глядишь, встреча обойдется миром.

– У-у... – с дурашливым удивлением отозвался длинный. И остальные (кроме маленького) вытянули губы трубками, словно тоже хотели сказать «у-у».

Длинный опять щелкнул по губе.

– А фуражка-то капитанская откуль? Небось папенька подарил?

– Папеньки у меня нет... – Коля понимал, что в ответ на это спокойное признание насмешки не последует. Ведь не злодеи же, хотя и обтрепанного вида.

И в самом деле, смущение скользнуло по всем лицам. Но его тут же как бы стер своими словами востроглазый:

– Значит, маменька купила. В «ропитовской» лавке.

– Маменьки тоже нет... А фуражку подарил капитанский помощник на пароходе «Андрей Первозванный», когда мы плыли сюда из Одессы.

– Это за какие твои красивые глаза? – с прежней скукою в голосе не поверил длинный. Как бы специально не придавая значения тому, что нет у мальчика ни отца, ни маменьки.

– Не за глаза, а... потому что был шторм, многие укачались, а я вышел гулять и забрался на мостик. Там были моряки, один и говорит: «Вот тебе за то, что не боишься волны...»

– Ай как врешь! – радостно сказал татарчонок.

– А вот и не вру!.. Если не верите, пойдем спросим у тетушки. У моей... Это рядом.

– То-то тетушка обрадуется таким гостям... – усмехнулся длинный. И потрогал нижнюю губу языком.

– Вы же не чай пить придете, а только спросить, – усмехнулся и Коля. Страху у него поубавилось.

Длинный сказал сумрачно:

– Да уж где нам с вами чай пить. Вы небось из дворян.

– Фрол, это, видать, те, кто у Кондратихи дом сняли! – вмешался старший из братьев. Тощий Фрол эту догадку пропустил мимо ушей. Спросил деловито:

– Может, сшибемся?

– Это как?.. Драться, да? – дошло до Коли. И внутри у него тоскливо заныло.

– Ага, – заулыбался Фрол. – Один на один, по-честному. Или в коленках ослабило?

– Нигде не ослабило... Только я не понимаю. Зачем? Я же ничего худого вам не сделал...

– И вдруг вспомнил: похожий разговор уже был. Три месяца назад. С него-то и начались в корпусе те невыносимые дни отчаянья и стыда... Нет уж, второму разу не бывать! И стиснул кулаки: – Ну, давай, ежели у тебя чешется!

– Снаружи петух, а внутри мышонок, – хмыкнул Фрол. – Видно ведь, что вспотел с перепугу. В Петербурге все такие боязливые?

– Зато ты какой храбрый! – Коля злостью старался перебить внутреннюю дрожь. – С теми, кто меньше ростом!

– Да неужто я сам буду с тобой сшибаться! – Фрол сделал вид, что очень удивлен. – Пускай вот хоть он, Макарка...

Уже после, вспоминая эту встречу, Коля сообразил: тут Фрол дал ошибку. Если бы он сказал «пускай Макарка дерется, да только он ведь не захочет», востроглазый мальчишка тут же взвинтился бы: «Как это не захочу!» И полез бы в драку. Потому что был он великий спорщик, отчего и носил кличку «Поперешный». А сейчас Макарка взелся на Фрола:

– Чего ты меня науськиваешь, как цуцика на кошку! Себе для потехи?

– Не хочешь – не надо, – миролюбиво откликнулся Фрол. – Тогда пускай Федюня...

Но старший из круглощеких братьев кулаком вытер под носом и рассудил:

– А чего зря махаться-то? Он же и правда худого не сделал.

«Татарчонок тоже не станет драться. Мелковат и не сердит», – смекнул Коля и ободрился.

Кивнул на самого маленького:

– Ты еще вот его на драку подвинь...

Федюня обнял того за плечо. И вдруг улыбнулся (а глаза у обоих васильковые):

– Не, Савушка никогда не дерется, у него злости ни к кому не бывает...

Савушка смущенно засопел.

Фрол заметно пошел на попятную:

– А я чего... Это же не по злости, а по обычаю, для знакомства. Чтобы видно сразу было – герой или трус... Ты какой?

Коля пожал плечами. То, что трус, знать они не должны.

– Я, наверно, не тот и не другой. Обыкновенный...

– Хитрый! – весело сказал татарчонок.

– Ничуть я не хитрый. Кабы хитрый был, сказал бы, что герой...

– Здесь героями никого не удивишь, – с легким зевком заметил Фрол. – Целый год держали город одним геройством...

– Ну, не ты же держал! – не стерпел Коля, хотя спорить было неразумно.

– Не я, конечно, мне тогда всего год был от роду, мамка от бомб в погребке прятала. А дед погиб на Втором бастионе. И мамкин брат, то есть дядюшка мой, тоже здесь голову положил...

– Ну и мой дядя тоже... Артиллерийский поручик Весли Андрей Фаддеевич. На Северном кладбище похоронен. Мы с тетушкой потому и приехали, что здесь его могила...

В лицах у всех сразу что-то изменилось.

– А на какой он был батарее? – живо спросил востроглазый Макарка.

– Тетушка не знает точно, а я тем более. Давно же было... А погиб он не на батарее, а просто на улице. Бомба прямо под ноги – вот и все...

Конечно, можно было сказать, что Андрей Фаддеевич героически погиб при отражении штурма на Малаховом кургане, но врать про такое было грешно. И Коля добавил себе военной славы с другой стороны:

– А папенька тоже воевал. Вернее, лечил раненых прямо под обстрелом. Только не здесь, а в Бомарзунде...

– Это где же? – недоверчиво спросил Фрол.

– На Балтийском море.

– Разве там тоже воевали? – опять усомнился Фрол.

– А как же! И там, и на Белом море, и даже на Тихом океане, где Петропавловск. Адмирал Нефир почти к самому Петербургу эскадру подвел, грозился взять Кронштадт, да его хорошо отогнали...

– И здесь бы отогнали, кабы сил хватило, – ревниво встрял Макарка.

– Кто же спорит... – с пониманием сказал Коля. И этим как бы поставил себя уже не против мальчишек, а рядом с ними.

– А папеньку тоже убило? – участливо спросил синеглазый Федюня. – В этом, в Бом... зун...

– Нет, он уже после умер, когда мне было три года...

– Хочешь с нами пойти в одно дело? – спросил Фрол.

Коля понял: драки окончательно не будет и вроде бы его берут в приятели. И все же не сдержал опаски:

– А что за дело-то?

– Опять забоялся, – съехидничал проницательный Макарка.

Но Фрол добродушно хлопнул его по трюху:

– Заноза... – А Коле разъяснил: – Знатное дело... Побожись, что не разболтаешь.

Да, его принимали в компанию, но и проверяли при этом. Что было делать? Коля охнул про себя и широко перекрестился:

– Ей-богу, вот... Никому ни словечка.

– Тогда гляди, – и Фрол распахнул тужурку. Из-под рваной подкладки торчала изогнутая рукоять с частой резьбой и медной головкой. Сразу ясно – *что*.

– Ух ты! Настоящий?

– А то!.. Хочешь стрéльнуть?

Коля не знал, хочет ли. Вернее, знал, что... не очень хочет. В жизни стрелять еще не приходилось. Небось эта штука грохает, как пушка. А ежели разорвет от ржавости или неправильного заряда?

– Я... хочу, конечно...

– Тогда идем. Здесь не с руки, услышат – крик подымут...

– Далеко ли идти-то? – последний раз поосторожничал Коля.

– Недалече.

Пошли ватагой по улице, что тянулась по западному склону Артиллерийского холма. Мимо побеленных домиков и каменных заборов, мимо серой стены порохового склада. К началу осады порох отсюда был почти весь развезен по батарейным погребам, и это спасло слободку. Иначе калёные французские ядра могли бы учинить немалую беду. А так – пронесло. Остатки пороха, что хранились глубоко под землею, взорвали уже сами русские матросы, когда оставляли город. От взрыва длинное здание треснуло и осело, но соседние дома почти не пострадали. Конечно, немало из них и без того было порушено – бомбами, что летели со стороны Херсонеса и горы Рудольфа. Но все же стрельба по этому флангу обороны была не в пример слабее, чем, скажем, по Четвертому бастиону или Малахову. Седьмой бастион и Восьмая батарея уцелели, Шестой бастион тоже сохранил свои каменные башни. И многие постройки слободки тоже остались целы. А разбитые дома заново сложили вернувшиеся хозяева или те, кто перебрался сюда с полностью разрушенных улиц Городского холма и Корабельной стороны.

Сейчас Артиллерийская слободка казалась почти нетронутой обстрелами, тогда как остальной город по-прежнему лежал в руинах и там лишь ближнему внимательному взгляду открывались посреди развалин явления жизни...

«Недалече» оказалось довольно-таки отдаленным, и Коля понимал, что едва ли через полчаса окажется дома и что объяснения с Тё-Таней не миновать. Однако разговор отвлекал от беспокойства. В разговоре спросили наконец, как его, новичка, зовут, и назвали себя. Коля узнал «поперешное» прозвище Макарки и то, что татарчонка кличут Ибрагимкой. А еще услышал небрежный, с приплюсыванием рассказ Фрола, как он отыскал «пистоль».

Фрол деловито разъяснил, что с боевыми припасами для пистолета никаких трудностей нет. Даже сейчас, через одиннадцать лет после осады, в старых оружейных погребах можно еще найти картузы с порохом. Снаружи они покрыты затвердевшей коркой, но внутри порох вполне пригодный, надо только размолоть, если шибко крупные зерна.

Хуже с кремнями для курка, но их тоже можно отыскать или выменять.

А пули для ствола (в который свободно входит указательный палец) годятся всякие – и конические «миньки» от иностранных нарезных ружей, и русские «полушарки», что наши солдаты отливали прямо в окопах. Этого добра можно было при старании накопать в земляных брустверах целую горсть за один поход. Назывались пули «орехи» и летним туристам продавались по алтыну за десяток...

Порох Фрол держал в круглой жестянке от леденцов фабрики «Бургеръ и бр.», «миньки» – прямо в кармане, а серый кремешок был закреплен в винтовом зажиме пистолетной собачки. Все это Фрол на ходу показал Коле и погладил гнутую ручку.

На пути не стой,  
У меня пистоль...

А Коля успел заметить на металлической щечке пистолета гравированную картинку: оленя и нападавших на него собак.

Наконец глинистая дорога пошла под уклон, разделилась на несколько тропинок, и тропинка, которую выбрал Фрол, завияляла среди каменных и земляных груд. Привела к сложенной из желтых брусьев стене – низкой, с разбитым верхом (позже Коля узнал, что это остаток казармы Пятого бастиона).

Вдоль стены шла осевшая насыпь, где желтела все та же храбрая сурепка. Между стеною и насыпью был неширокий проход, и его с одной стороны замыкало кирпичное сооружение – что-то вроде большой разбитой печи. В двух аршинах от земли кирпичи образовали широкий выступ. Проворный Савушка подбежал и поставил туда квадратную бутылку мутного стекла (и где взял – неужто нес за пазухой?).

Потом Савушка – он, видать, крепко знал свои задачи – вспрыгнул в разбитый проем казарменной амбразуры и стал на часах. Фрол же начал заряжать пистоль.

Все, притихнув, смотрели, как он с клочка бумаги высыпает в дуло черную крупу, как сворачивает и забивает шомполом бумажный пыж, а затем – похожую на пробку с узким рыльцем пулю. Он подсыпал порошу на полочку у затравки, щелкнул над нею железным лепестком, оттянул курок.

– На пути не стой... – и навел пистолет на бутылку. Шагов с семи.

Савушка в амбразуре зажал уши. Ибрагимка тоже – с виновато-дурашливой улыбкой. Другие не стали. И Коля не посмел, хотя понимал: ох и грянет!

И грянуло!

Вспухло синее облако. Но за миг до того Коля заметил, как искрами брызнуло горлышко бутылки. А она даже не упала!

Сквозь упругий гул в ушах Коля услышал обрадованные крики и довольные слова Фрола:

– Во как надо! Бах из ствола – и нету горла... А теперь давай ты. – Это он Коле.

Коля судорожно кивнул. И пока опять заряжали пистолет, он догадливо думал, что Фрол целил в середину бутылки, а в горлышко попал случайно. И теперь скажет: «Бутылку я оставил для тебя...»

– Бутылку-то я оставил для тебя. Во какая большая, не промажь...

Коля знал, что промажет.

Когда он поднял тяжелый пистолет, конец ствола заплескал перед глазами и начал выписывать восьмерки. А бутылка – ее и совсем не разглядеть. Коля решил с обмиранием: нажму поскорее – и будь что будет. Но Фрол оказался рядом.

– Ты руку-то согни в локте, а локоть подопри левой. Вот так... И дыши спокойно, не как загнанная курица. Неужто раньше никогда не держал такой? Уметь должен, это же самое дворянское оружие. Говорят, из такого Пушкин стрелялся на дуели...

Коля глянул удивленно: ишь ты, про Пушкина знает! Фрол тут же прочитал его мысль:

– Ты думал, только в петербургских гимназиях все шибко умные, а здесь темнота?

– Ничего я такого не думал... – И Коля начал сердито целиться сызнова. И ствол плясал. Коля со злостью и страхом зажмурился и наугад надавил спуск.

Ахнуло пуще прежнего! Рвануло назад и вверх руку. Вновь заложило уши. Но сквозь плотную воздушную вату Коля расслышал опять радостные вопли. И разглядел сквозь дым, что бутылки нет, а есть на кирпичах лишь зазубренное доньшко.

– Знатно, – снисходительно сказал Фрол. – Не зря я тебя учил.

Коля на радостях решил было признаться, что попал случайно и даже с перепугу. Но тут же сообразил, что такая честность сейчас едва ли на пользу. Дунул в ствол (чуть не чихнул при этом), подкинул пистолет, перехватил за ствол и протянул оружие Фролу рукояткой вперед. Этаким гвардейским жестом:

– Благодарю.

– Теперь я! – сунулся вперед Ибрагимка.

– Смотрите-ка: уши зажимал, а стрелять просится!

Бутылок больше не было, и Федюня приволок из мусора гнилой обрезок доски. Ибрагимка в доску не попал. Да и мудрено попасть, ежели стрелял, отвернувши лицо совсем за спину. Федюня тоже промазал, хотя целился по правилам. А Макаркина пуля отломила от доски щепку. И он дунул в ствол почти так же, как Коля.

Фрол начал заряжать сызнова, для второй очереди, но тут сдавленно крикнул от стены Савушка:

– Полундер! Семибас идет!..

Фрол в один миг сунул пистолет за кирпичи. За ним – жестянку с порохом. Прикрыл щель пучком сухого чертополоха. Коле сказал тихой скороговоркой:

– Про пистоль помалкивай. Пошел, мол, с ребятами «орехи» собирать...

После этого все со старательно беззаботным видом вышли из-за стены. У Коли беспорядочно тюкало в груди. Не от страха – от приключений.

По тропинке меж мусорных куч двигался к разбитой казарме дядька в полицейской шинели. Щуплый и невысокий, но седые усы и бакенбарды – что у генерала! Это был околоточный надзиратель Семибас. Коля несколько раз видел его издали и прежде и от соседской девочки Саши знал, что зовут надзирателя Куприян Филиппыч.

– Доброго здоровья, дядя Куприян! – громко и наперебой заговорила вся (кроме Коли) компания. Макарка даже стянул с головы треух.

– И вам того же, спасибо на добром слове... – Голос у околоточного был похож на сиплый паровозный свисток. – А что за стрельба-пальба? Будто снова маршал Пелисье объявился! А? Фрол, это ты небось устроил штурм Пятого бастиона?

– Да что вы, Куприян Филиппыч! – с достоинством оскорбился Фрол. – Мы пошли за «орешками», а там незнакомые мальчишки. Видать, «корабельщики». У себя на Малахове все повыбрали и лезут на чужие места, да еще со стрельбой балуются. Мы подходим, а они бежать. А теперь будто мы виноватые!..

– Уж больно складно ты все излагаешь. А покажи-ка, любезный, что у тебя за пазухой? Может, там целый арсенал?

Фрол с тем же обиженным видом расстегнул чиновничий лапсердак, распахнул, как крылья. То же самое сделали, не дожидаясь приказа, и остальные, даже Савушка. Глядя на других, начал расстегиваться и Коля. Понимал: надо быть сейчас, как все.

Семибас зашевелил под лаковым козырьком кустистыми бровями:

– А тебя я, голубчик, что-то не примечал до сей поры. Откуда ты... откуда вы, молодой человек?

Опытный полицейский глаз почти сразу подметил отличие незнакомое мальчика от других. Белый шарфик под воротом аккуратно сшитого (хотя и «простонародного») армячка, ладные суконные штанишки с медными пуговицами под коленками, новенькие чулки в синекрасную поперечную полоску, чистые сапожки с узкими невысокими голенищами и тонким рантом. Только вот фуражка не по размеру, но и та не матросская, а с командирской эмблемой РОПИТа. И лицо – умытое с привычной тщательностью, не то что у здешних огольцов. Пухлогубое, но тонкое, с широко сидящими серыми глазами, которые могут с боязнью глядеть на незнакомых мальчишек, но уж никак не на околоточного надзирателя.

– Он из Петербурга! – сунулся вперед Макарка, посчитавший, что это сообщение уведет Семибаса от опасного разговора про стрельбу.

– А! Так вы, верно, племянник Татьяны Фаддеевны Лазуновой, что сняла квартиру у вдовы Кондратьевой?

– Да, сударь...

– Весьма приятное пополнение состава местных жителей... Однако же смею заметить, существование здесь не лишено трудностей. В городе ведь и гимназии нет, а вам, я полагаю, именно в ней следует обучаться...

– Меня записали в ремесленную школу.

– Да разве же такая школа для вас? Неужто вы собираетесь в мастерские?

– Но я и в гимназию записан, в Симферополе. Туда, однако, надо ездить всего дважды в году, перед Рождеством и после Пасхи, чтобы сдать экзамены. Называется «экстернат». А школа... ну, чего же болтаться без дела? К тому же там обещают корабельное изучение.

– Похвально, весьма похвально... – И околоточный обвел остальных назидательным взглядом: вот, мол, учитесь истинному прилежанию. Затем пообещал: – На этой неделе осмелюсь навестить вас и тетюшку. По долгу службы и чтобы узнать, нет ли в чем нужды.

– Милости просим, – светски сказал Коля.

– А с этими друзьями-приятелями советую держать ухо востро. Можете невольно оказаться участником недозволенных поступков и проказ...

Коля дипломатично улыбнулся.

Куприян Филиппыч Семибас тронул двумя пальцами козырек суконной фуражки и зашагал прочь, позванивая прикрепленными к шинели медалями и цепляя тяжелой саблей сухой бурьян.

– А сабля-то французская, – вполголоса сообщил Коле Макарка. – За лихость ему пожаловали и разрешили носить на службе. Он ее у ихнего офицера отнял, когда ходил в вылазку.

– Разве же полиция тоже воевала? Или он был тогда солдат?

– Он был городской, – разъяснил Фрол, – а в вылазку напросился добровольно, с отрядом мичмана Завалихина. Отсюда ходили, с Центрального...

(После Коля узнал, что Центральным иногда именовали Пятый бастион, так же как Четвертый – Мачтовым, а Шестой – Карантинным или, иногда, Музыкальным.)

– И не отсюда вовсе, с редута Шварца, Маркелыч сказывал! – взвинулся Макарка.

– Помолчи, Поперешный!.. Он, Семибас-то, даром что росту небольшого, а скрутил французского капитана, как рыношного жулика, и приволок его. Сам Нахимов медаль ему приколот и про саблю сказал: «Оставь себе на всю жизнь»... Ладно, пошли, ребята, к дому...

– А пистолет-то! – напомнил Коля. Хотелось еще раз подержать оружие, из которого выпалил так удачно.

– Пушай пока там полежит. Семибас-то, он не глупее нас. Повстречает сызнова: «А ну-ка покажите запазухи еще раз!»

Когда шагали обратно, Федюня спросил:

– А ты, что ли, вправду пойдешь в ремесленную школу?

– А чего же такого? Сказано: пойду. Записали уже.

– Фрола и меня тоже записали. А Ибрагимку и Макарку не взяли. И Савушку не взяли, малой еще.

– Я и не просился! – опять выпустил колючки Макарка.

– А татаров никуда не берут, – сумрачно сказал Ибрагимка.

– Не в том беда, татар ты или нет, а надо хоть маленько грамоте знать, – внес разъяснение Фрол. – Тебя же вместе с Макаркою отец Кирилл звал к себе азбуку учить, хоть ты и другой веры. А вам обоим лишь бы по бастионам за добычей свистать.

– А сам-то! – возмутился Макарка. – Тоже ведь не пошел!

– А мне зачем? Меня Адам и без того чтению обучил! Не хуже, чем в гимназии!

Оказалось, что одно время в доме у Фрола снимал комнату корабельный инженер Адам Вишнеvский, поляк. В ту пору Российское Общество Пароходства и Торговли (тот самый РОПИТ) начало восстанавливать на берегу Южной бухты старые доки, Адам там и работал. А по вечерам учил приятеля Фролку книжной премудрости и рассказывал про все, что есть на свете интересного. От него Фрол узнал и про Пушкина, получил в подарок толстую книгу со стихами и повестями. Да вот незадача – полгода назад пришел Семибас и сказал: «Я прошу прощения, Адам Станиславович, только вас просят к себе господин пристав».

И пошли они к господину участковому приставу, и более инженер Вишнеvский не вернулся. Сказывали, будто умышлял он с другими поляками возмущение против государя императора.

– Так оно или нет, не знаю, а человек он все равно хороший, – сумрачно закончил рассказ Фрол. – Может, за то и невзлюбили, а никакого возмущения он не хотел.

– Чего возмущаться-то, ежели государь народу волю дал и обещает военную службу короче сделать во много раз... – вставил солидное суждение Федюня.

«Однако же поляки возмутились», – вздумал напомнить Коля, да не стал. Непонятно было, как отнесется Фрол. Тот шел и слегка кривил губу. Ибрагимка усмехался и смотрел в сторону. Кажется, у него было к государю императору свое отношение.

Макарка вдруг оглянулся на Колю:

– А ты правда в гимназии записан?

– Зачем же мне врать!

– И охота тебе в двух школах надрываться!

– Отчего же не хотеть, ежели интересно. Я сам попросился, когда узнал. Разве худо, если будешь понимать, как молотком да пилой орудовать? Вон царь Петр Первый это лучше всех бояр и генералов умел.

Фрол сказал с усмешкой:

– Царем тебе все равно не бывать. Да и мастеровым тоже...

– А я и не хочу. Ни тем ни другим. Я буду плавать по белу свету, открывать новые страны. А ежели попаду на необитаемый остров, как Робинзон, там любое ремесло будет не лишнее.

– Хитер, – сказал Фрол. Оказалось, он и о Робинзоне знал. Опять же из рассказов Адама. А остальные не слышали.

У Коли была книжка «Новый Робинзон» – известный роман, пересказанный немецким писателем Генрихом Кампе. С множеством картинок, которые Коля в давние годы сам раскрасил цветными карандашами.

– Если хотите, я покажу. Можно собраться и почитать всем вместе.

– Давайте в нашем погребке! – предложил простодушный Федюня. Фрол глянул на него косо, но потом сказал:

– Можно и там...

Татьяна Фаддеевна была, конечно, уже вся не своя. Ходила туда-сюда перед калиткой. Впрочем, углядевши издалека племянника, сделала вид, что гуляет просто так. Он подошел, а ребята стали поодаль, сами по себе.

– Николая! Ты, мне кажется, обещал вернуться через полчаса...

– Тё-Таня, простите. Заигрался с мальчиками, а часов-то ни у кого нет... Зато познакомился. Вон, Фрол и Федя тоже будут учиться в ремесленной школе.

Наверно, тетушка содрогнулась внутри себя, разглядев обтрепанного Фрола. Однако улыбнулась издалека:

– Рада вас видеть, мальчики... Я волновалась за Колю, местá для него незнакомые. А тут еще, кажется, слышалась где-то стрельба...

Ребята подошли поближе. Фрол сказал с неожиданной учтивостью:

– Стрельбою тут, сударыня, никого не удивишь. Нынче было чье-то мелкое баловство. А вот ежели к делу приступит Маркелыч...

## Николкины мортиры

Ранним вечером Николина дня, когда над выходом из Северной бухты зажглась, подобно маяку, переливчатая Венера, над слободкой ударил орудийный выстрел. Чугунное «бум-м» раскатилось над каменными лестницами-трапами, над ребристыми односкатными крышами, вымело из желобков черепицы жиденькую снеговую пыль.

Загавкали псы, но не испуганно, а скорей с одобрением. В каком-то сарайчике азартно заорал петух. Людское население слободки тоже отнеслось к пушечному грому без страха. Хотя давно уже минуло осадное время, но почти все здешние жители его помнили и пальбой их было не удивить. К тому же все знали: нынешний выстрел к военным делам отношения не имеет. Тетушки всплескивали руками и весело ругались. Успевшие подвыпить мужички поматывали головами и усмехались: «Ай да Маркелыч!»

Лишь околоточный надзиратель Куприян Филиппыч Семибас, обходивший в ту пору вверенную ему территорию, не одобрил случившегося. Крякнул, пропустил сквозь кулак левый ус, поправил саблю и зашагал в сторону «имевшего место нарушения мирного порядка». Адрес был известен околоточному точно. Он поднялся по разбитой каменной лестнице, именуемой Вельботным спуском, прошагал среди скученных домишек по дороге, которая называлась Боцманским переулком, миновал еще один переулок (без названия), пересек пустырь, носивший имя Пушечной площади (здесь играла в «конный бой» ватага мальчишек), обошел пустовавший пороховой склад и еще по одному трапу достиг каменной изгороди с глубоко сидящей калиткой. Эту калитку он решительно толкнул и оказался на дворе, украшенном двумя кривыми вишневыми деревьями.

Меж деревьев стоял зажженный корабельный фонарь с пузатым стеклом. В свете фонаря хорошо было видно, как хозяин двора и стоявшего в нем домика тащит в сарай мортиру. Точнее, мортирку. Из таких малюток «кегорнов» во время обороны осажденные вели стрельбу с батарей по передовым траншеям англичан и французов. Ствол «кегорна» формой напоминал широкую ступку для размельчения зерен, а размером был не более полуведерного самовара. Однако тяжел! Хозяин тащил укрепленную на дубовом бруске мортирку за веревку, как упрямую козу. Любовно начищенный медный ствол отражал фонарь ярким бликом.

Увидев околоточного, хозяин орудия не растерялся. Стал прямо, заулыбался. Был он молод, худощав, с небольшими «унтерскими» усами пшеничного цвета.

– С праздником, дядя Куприян!

– С праздником-то оно с праздником, только я тебе на нынешний момент не дядя Куприян, а господин околоточный надзиратель, потому как нахожусь при соблюдении тишины и порядка. А ты опять эту тишину рушишь самым бессовестным образом, хотя были с тобой на сей счет уже немалые разговоры!

– Так дя... господин околоточный Куприян надзиратель Филиппыч! Это же для души! День Николы Морского, покровителя нашего! Сколько именинников в городе, да и сам я...

– То, что ты именинник, устраивать салюты без позволения воинского начальника или хотя бы господина пристава права тебе не дано, хоть ты, конечно, личность знаменитая, герой и георгиевский кавалер и все такое... И вот я думаю, что самое правильное будет свести тебя в участок, где господин пристав решит: или выписать тебе штраф, или посадить в кутузку аж до самого Рождества...

– Ну, Куприян Фи... господин надзиратель. Околоточный. Пристав же сейчас наверняка не в участке, а дома. Празднует небось... Опять же штраф мне выписывать бесполезно, потому как от купца Телятникова я ушел, дома ни копейки. А в кутузку георгиевских кавалеров сажать не по чину, разве что на воинскую гауптвахту с оказанием достойного обхождения...

– Ох, Николка, рано ты стал кавалером, и потому учили тебя уму-разуму мало...

– Ну и не мало вовсе, а сколько положено... А у тебя, дядя Куприян, сейчас возможность выбрать одну из двух диспозиций. Или доставлять меня в участок... Я, конечно, пойду, потому как закона всегда слушаюсь... Или зайти ко мне на чаек, что и ближе, и не в пример приятнее. Настенька обрадуется, она тебя с детской поры помнит и уважает. У нее пирог ради праздника, вареники сладкие, сальце такое, что во рту тает. У меня же горилка с перцем, собственный продукт...

– Какое такое сальце, опомнись! Пост же! – излишне шумно возмутился Куприян Филиппыч.

– А! Ну правильно, пост. Однако же, говорят, ради праздника возможно послабление. А пирог к тому же с овощной начинкой, без всякого греха. Да и горилка, она ведь тоже постная...

– Ох и бесовская твоя натура, Николай... Зайти разве ради Настеньки, чтобы в праздник не было ей огорчения...

– Вот и я говорю... Только момент, укрою в капонире орудие!

Настенька всплеснула руками:

– Куприян Филиппыч! Заходите, сделайте радость... Давайте саблю. Ох и тяжеленная, как вы ее носите... Снимайте шинель...

Тотчас появились на столе тарелки, плошки, пирог и штоф.

– Ты, Настасья Павловна, держала бы своего неслуха в надлежащей суровости, – ворчал Семибас, устраиваясь на скрипучем табурете. – А то ведь как был батарейный сорванец, так и остался, хотя сам государь его поминал в указах...

– Сорванец и есть, Куприян Филиппыч. Каждый день с утра не знаешь, чего он к вечеру учудит! Пушка эта... Я каждый раз уши затыкаю с перепугу... А недавно разругался с хозяином, с Телятниковым, что старые корабли подымает, да и ушел. Хорошая была работа, а он: «Пойду к Федосу Макееву в шкиперы, буду его тендер водить, у Федоса-то прав нету, а у меня есть»...

– Это, что ли, правда? – глянул околоточный из-под косматых бровей на Николая.

– А чего... Телятников жулик, не меньше того американца. А мне плавать надобно, не зря же я в Керчи ту науку грыз. А на Федосовом тендере я уже ходил, дело знакомое

Семибас покачал головой. То ли с осуждением, то ли наоборот.

Налили горилку – Николаю в простой стакан, Куприяну Филиппычу – как гостю – в широкую чарку радужного стекла. Хотели плеснуть и Настеньке – в тонкую чайную чашку, – но она засмеялась и замотала головой.

Выпили за праздник. Пожевали. Выпили за Настеньку, чье угощение было выше всяких похвал. Поговорили малость о Телятникове, который медленно и неумело вел дела с подъемом судов – тех, что в начале осады были затоплены, чтобы закрыть вражеским кораблям вход в Северную бухту. К слову пришлось – вспомнили не по-доброму и лихого американца, который еще до Телятникова ведал подъемными делами. Снимал с корабельных корпусов медную обшивку и все ценное, заработал на том немалые деньги, завел в городе богатый дом, жил на широкую ногу, а потом его только и видели...

– А чего там... Подымай не подымай, а это все равно уже не флот. Надо строить новый...

– Верно, Маркелыч. Тот свою геройскую службу сослужил, закрыл грудью город... Давай-ка теперь по третьей, как положено...

И выпили, не чокаясь, за тех, кто poleg здесь...

– И за батюшку твоего, Тимофея Гаврилыча. Лихой был комендор, упокой Господи его душу...

Отец Николая Тимофей Гаврилыч Яценко был комендором на «Трех Святителях», участвовал в Синопском бою, а с началом осады оказался на Пятом бастионе. Жена его в ту пору умерла от простуды, десятилетнему Николке податься было некуда, вот и приткнулся на бастионе к матросам. Был одно время вестовым у командира второй дистанции лейтенанта

Забудского, помогал отцу управляться с орудием, скоро притерпелся к пушечному грому, вражеским бомбам и свисту пуль, к виду изувеченных тел и крови. Потому как война и отстаивать свой город – святое дело. Так и отец говорил, и взрослые приятели-матросы, и сам Павел Степанович Нахимов, который не раз при встречах трепал по кудлатой голове отчаянного босоногого юнгу.

Зимой отца свалила насмерть штуцерная пуля. За орудие стал отцовский товарищ дядя Матвей, Николка остался при нем. Потом убило и Матвея. Николку знакомые матросы взяли на редут Шварца. Однажды туда из лихой вылазки принесли две трофейные мортирки. С виду почти игрушки, но стреляли справно, и Николка скоро выучился управляться с ними лучше всех. Оно и понятно – маленькие маленького всегда понимают лучше взрослых. У солдат и матросов мортиры назывались по-своему, «маркелами», вот и стал уже в ту пору Николка Ященко Маркелычем.

Так и воевал до того дня, когда пришлось со всей армией отойти по наплавному мосту на Северную сторону. Там приписали Николку к одной из батарей, что стояла в сплошной линии обороны неподалеку от каменного Михайловского бастиона. Затем, уже в начале пятьдесят шестого года, по велению начальства (Николка и не ведал какого) отправили его в Николаев, в резервную роту, а оттуда вскоре отвезли в Петербург и определили в школу кантонистов при морском гвардейском экипаже. При этом выдали в награду неслыханную сумму – сто рублей серебром. Половину он за годы учебы потратил на столичные забавы и угощения товарищей, а другую половину (хватило ума!) сберег до взрослых лет, что потом очень пригодилось.

В начале школьной жизни случилось событие, которое сперва изрядно напугало кантониста Ященко. Начальник школы вдруг истребовал у него медаль «За храбрость», которую еще на бастионе вручил Николке сам Павел Степанович. Было от чего пустить слезу! Но скоро выяснилось, что медаль взяли в инспекторский департамент для обмена на знак отличия военного ордена Святого Георгия, который пожалован был юному артиллеристу Высочайшим повелением. Георгиевский крест вручили кантонисту Ященко перед строем всего экипажа, после чего началась у него жизнь вовсе даже неплохая.

Конечно, строгости в кантонистской школе были немалые, но Николка к военным порядкам был приучен, иных он и не знал. А на шалости юного героя Обороны начальство смотрело снисходительно: не драть же георгиевского кавалера за каждую мелкую выходку. Тем более, что учился он примерно, потому как был «головастый».

После школы зачислили Николая Ященко во вторую роту того же гвардейского экипажа, и началась его действительная матросская служба. Только служба эта была ему не по душе. Караулы да парадные выезды на шлюпках со всякими высокими чинами. Иногда приходилось видеть и самого государя. А вот моря видеть почти не приходилось. А мечталось ведь, что будет, как батя, на большом корабле. И как только подвернулся случай, напросился Николай в плавание.

По-прежнему числясь в гвардейском экипаже, был он определен волонтером в команду учебного корабля «Орел», которым командовал (вот еще одна удача!) участник Обороны капитан первого ранга Федор Степанович Корн. Он помнил маленького Маркелыча и принял его с теплотою необыкновенной. Николай, однако, ни знакомством с капитаном, ни Георгиевским крестом не кичился, постигал парусную науку по всей форме. То, что в школе учили по словам наставников да по моделям, теперь узнавал на деле.

Старый восьмидесятичетырехпушечный «Орел» ходил с гардемаринами в Ревель, в Гельсингфорс и даже за границу – в Данию. Несколько раз попадал в нештучные штормы, однажды чуть не перевернулся при шквале из-за недостаточного балласта. Такое запоминается навсегда.

Молодые офицеры – те, что рады были всяким новшествам и освобождению крестьян, – к любознательному грамотному матросу с Георгием на форменной рубахе относились по-друже-

ски. Случалось, объясняли иногда кое-какие премудрости штурманской науки, давали подержать секстан и заглянуть в карты. Все удерживал в памяти Николай, будто знал – пригодится...

Не все офицеры, однако, были добры. Некоторые, особенно из старых, чуть чего – по зубам, хотя капитан Корн и не одобрял этих обычаев. Особо зверствовал старший офицер, капитан-лейтенант Гладов. Однажды по его приказу за мелкий просчет на учениях наказали марсового матроса Фому Ласточкина. Дали на баке пятьдесят линьков. Николай как увидел на его спине багровые рубцы и подтеки, так словно что-то обломилось в душе. Нет, ему и раньше приходилось видеть, как бьют, не дома у маменьки рос, но сейчас, под снежно-белыми парусами, под ясным небом с вольными чайками, показалось это невысказанно диким. Необъяснимым... И, вернувшись в гвардейский экипаж, стал матрос второй статьи Яценко думать об отставке.

А что! Сроки позволяли. Царская служба на флоте – она, конечно, двадцать лет, да ведь при осаде и пока был на Северной, месяц шел за год – по Высочайшему указу императора Николая Павловича. И теперь, если посчитать, выходило, что в самый раз.

Подавал, как положено, рапорт по начальству. То сперва, конечно, на дыбы: «Как посмел, что за дурь в твоей голове!» Однако же скоро разобрались. Царский указ – это вам не кошкочих! И вот приказ по экипажу: «...в связи с вышеозначенным предлагаю командиру второй роты удовлетворить матроса второй статьи Николая Яценко всем следующим по положению по 26 сего апреля, из списков экипажа исключить и считать уволенным от службы...»

Когда прощались, мичман Сергей Павлович Зеленский, доброй души человек, спросил участливо:

– И зачем надумал такое? Служил бы да служил, при твоих стараниях мог бы с годами выйти и в офицеры, нынче новые времена. А сейчас куда пойдешь?

– Домой, Сергей Павлыч. Город, говорят, строиться начал, руки там нужны, дело найду. Что-то сильно потянуло в прежние места.

Оно и правда, после плавания на «Орле» все чаще снился родной город. Не горящий и разбитый, а тот, что был до осады: белый, чистый, с густой зеленью по улицам и косогорам, с мачтами и парусами в голубизне бухт. И море снилось родное. Не серая холодная Балтика, а теплый синий простор, где ветры пахнут солью с воды и сладкими травами с желтых обрывистых берегов...

Может, и правда город снова станет таким?

Город оказался не таким. Белый, издали казавшийся нетронутым войною, вблизи он был мертвый и почти пустой.

Однако же не совсем мертвый, не совсем пустой! По склонам холмов лепились посреди развалин вновь отстроенные дома и хатки. Даже и на главных улицах глядишь – то вывеска гостиницы, то магазин или трактир. И в больших, разбитых бомбами домах нет-нет да и засветится вечером окошко. А на месте срезанных канонадою старых деревьев тут и там курчавился молодняк: вишни, персики, яблони, невысокие каштаны. Большие же, чудом уцелевшие от войны деревья зеленели особенно раскидисто и пышно. На склонах, по краям каменных трапов, торчали, как на карауле, маленькие, похожие на лихих, подтянутых кантонистов кипарисы...

После долгих лет казармы теперь отчаянно хотелось своего угла и вольного существования, когда живешь, как душа велит, а не по хриплым командам боцманов и фельдфебелей, не по пронзительным сигналам трубача.

От дома на Корабельной, где жил когда-то с батей и маменькой, осталась груда щебня. Сквозь щебень проросла полынь. Николай постоял, перекрестился и пошел в слободку над Артиллерийской бухтой. Там, в Косом переулке, жила во время осады маменькина знакомая, вдова Анна Михайловна с Николкиной ровесницей Настюшкой. К ним Николка забегал в гости, если на бастионе и редуте случались передышки.

Дом оказался почти цел, только один угол разбило ядром. А вдовы и дочери ее не было. Соседи говорили: уехали сразу, как оставлен был город, а куда – никому не ведомо. Николай подумал и взялся за ремонт. Решил: если вернутся хозяева, будет им, добрым людям, готовая крыша, скажут спасибо. А не вернутся – значит, будет хата его, Маркельча, по закону давнего знакомства... Да едва ли они снова здесь появятся, сколько лет прошло! Раскидала людей война...

Старожилы помнили маленького Маркельча, что когда-то на недалеких от этого места батареях палил из двух своих пушчонок по позициям французов и англичан. Помогали, чем могли. Однажды старый сосед, бывший унтер, а ныне хромой яличник дядько Евтихий, кряхтя, приволок на тележке завернутую в мешковину тяжесть.

– Глянь-ко, кавалер, что я тебе подарить вздумал. Лет семь назад копал недалече от Шварцевского редута червей для рыбалки, там они в одном месте дюже сочные развелись, да и отрыл эту орудю. Приволок старухе, чтобы ступка была, да больно тяжела. Так и лежала за курятником. Может, твоя?

«Может, и правда моя?» Теперь было точно не узнать. Но очень похожа была эта медная малютка на те, которыми распорядился Николка на редуте. Ну, как сестренку увидел.

«Или Настюшку...»

– Бери, Маркельч, будет память о твоём геройстве...

– Спасибо, дядько Евтихий... Да какое там геройство...

...По малолетству иногда и правда думалось, что герой. Когда Павел Степаныч прикалывал к его драному, от бати оставшемуся бушлату медаль. Когда начальник школы капитан первого ранга Модест Петрович Глаголев прицеплял к зеленому сукну парадного кантонистского мундира серебряный крест. «Георгиевскому кавалеру Николаю Яценко – ура!» – «Ура!.. Ура!.. Ура!..» А если по правде вспоминать, сколько было в душе жути! Особо до той поры, пока не появилась привычка. Но и сквозь привычку потом, сквозь бесстрашную горячку азартной пальбы по наступающим синемундирным рядам вдруг проскакивала мысль: «А ежели и меня убьют? Как вот их, что рядом?» – «Да нет же, это больших убивают. А убитых юнгов ты разве где видал?»

Однако же привелось увидеть и такое. Почти такое... Как-то раз отогнали наступавших и пошли собирать трофейные штуцера и снаряжение. И увидел маленький Маркельч, что среди убитых французов лежит навзничь солдатик его, Николкиного, роста. Фуражка с большим козырьком и узким доньшком отлетела, русые кудри были вмяты в жидкую глину. Поодаль валялся большой барабан с изорванным в клочья ремнем и пробойной. Грудь вся в кровавых ошметках. Глаза мальчишки были открыты и смотрели прямо в небо. Серые... А ресницы загнутые вверх, как у Настюшки...

Николка встал у барабанщика на колени, упершись в глиняную кашу ладонями. И смотрел, пока его не взяли за плечо.

– Пойдем уж, Маркельч, теперь не поможешь, сколько ни гляди... И чего его, малюго, принесло в чужую землю...

После Николка в щели между насыпью и командирским блиндажом плакал горько и долго – так же, как в день, когда убило бату. А проплакался и – что делать-то – пошел воевать снова. Только барабанщик этот снился ему потом часто. И на позициях, и в школе. Будто оживает он, садится и глазами ищет барабан. А Николка говорит виновато: «Да вот он... Только пробитый весь». Барабанщик (ну точно как Настюшка) трет согнутым пальцем переносицу и спрашивает по-русски: «Маркельч, как же я теперь с дырявым-то? Попадет от командира...» И опять нет у Николки к мальчишке-французу никакой злости, одна жалость...

Но не только барабанщик этот виделся в снах про войну. Многое. И летящая прямо в него, в Николку, бомба «лохматка» (вся в огненных кудрях), и занесенный штык в руках зуава-великана, и нестерпимое, со всех сторон обступившее пламя... И страх, который там, на пози-

циях, просыпался лишь порою, в этих снах был постоянный, главный: «А ежели убьют? Прямо сейчас!.. А ведь и вправду убьют, и не будет меня!»

И было так, наверно, года два. А потом эти сны стали реже и реже, и стали приходить другие. Будто сама осада привиделась ему лишь во сне, а по правде-то город по-прежнему цел – белый и зеленый. И будто маменька, усадив его, Николку, посреди солнечного двора на табурет, обвязала ему голову шнурком и стрижет «под кружок» длинными звонкими ножницами. Волосы падают, щекочут голую спину, а маменька смеется и уговаривает потерпеть. А потом обмахивает его полотенцем. И чистое полотно пахнет, как, должно быть, пахнут паруса, и летящий воздух от него смешивается с морским ветром, а море стоит за крашенными известкою заборами и черепицею крыш, как синяя стена, пересыпанная белыми искрами бурунов...

А потом просыпался и с боязнью, что заметят товарищи, переворачивал тощую казенную подушку с мокрым пятном...

Дом был готов к середине лета. Николай нашел среди развалин нехитрый скарб, а кое-чего прикупил – были еще в запасе старые наградные деньги да сэкономленное жалованье. Выкопал в ближней балке две молодые вишенки, посадил во дворе (ничего, принялись, хотя и не по времени была пересадка). И стал думать, как жить дальше. На оставшиеся сбережения долго не протянуть. Да и ладно ли это – молодому, крепкому жить без дела. А найти дело было не хитро. Можно было пойти камни тесать на строительстве Владимирского храма на холме, где упокоились погибшие в осаду адмиралы. Можно – в мастерские или в доки РОПИТа, что разворачивал свое хозяйство в Южной и Корабельной бухтах. Можно к торговцу Крупову, что неподалеку от взорванной Николаевской батареи строил номера для зачастивших в город любопытных туристов... Маркелыч пошел к американцу Гаррисону, чья компания подрядилась наладить подъем судов. На паровом катере возил с Большого рейда в Южную бухту, к Пересыпи поднятые из воды пушки, цепи и якоря.

Скоро, однако, ясно стало, что американец – жулик, да и жалованье платил неохотно. Николай к тому же услышал от сведуших людей, что в Керчи открылись мореходные курсы и что окончившим их дают бумагу на право корабельного вождения. И к сентябрю подался в Керчь, оставив жильё под присмотр дядьки Евтихия.

На курсы взяли сразу, потому как принимали желающих из любого сословия, была бы охота к морю. А уж кавалеру и бывшему гвардейскому матросу – самая прямая дорога. Одно досадно – возраст оказался великоват, ведь среди учеников были и совсем мальцы. Однако же мальцов этих Маркелыч скоро обошел по всем статьям, поскольку в рангоуте и парусах и раньше разбирался изрядно, такелажное дело знал отменно, да и многие другие флотские премудрости одолел еще в школе и на «Орле». Новым было только штурманское дело, да и то кое-какие начала в нем были Николаю Яценко ведомы – спасибо мичманам с «Орла». В мае сдал он экзамен и поступил штурманским учеником на частную шхуну «Елизавета» – для получения мореходной практики. Ходила «Елизавета» недалеко, между ближними портами, часто возвращалась в Керчь. А там ждала Николая его неизбывная радость, его нечаянное счастье и награда – Настенька.

Вот так уж ласково очередной раз обернулась к нему судьба. Едва начав учиться, в октябре, встретил он девушку в толчее городского рынка. Выросла, а глаза-то и загнутые вверх ресницы все те же.

– Настюшка!

Она тоже узнала сразу. И... заплакала. А он, не глядя на шумящий кругом люд, обнял ее. «Сестренка...»

– Я и не чаял, что встречу когда-нибудь...

Оказалось, что после переправы на Северную они с матерью вскоре перебрались в Керчь, где жили их родные: матушкин брат, рыбак Евдоким Михалыч, и его жена – «тетя Ксана». Бездетные. Сестру с дочкой приютили, Анне Михайловне сыскали работу – кухаркой у рыбного

торговца Коноваленки. С племянницей обходились по-доброму, жалели и лечили, как умели, если делалась нездоровая. А болезни прилипали часто. Оттого, наверно, что в последние дни осады, когда бежала Настюшка через Пушечную площадь, лопнула в пяти шагах случайная граната, бросила девочку спиной на камни. С той поры боли в спине и не кончались...

Анна Михайловна пробыла кухаркой недолго, надорвалась, ворочая в коноваленковской кладовой бочки, слегла, и через полгода ее схоронили. А Настюшка так и подрастала в доме у дядюшки. В родном городе больше не бывала – натерпелись там с матерью страху, а про дом они думали, что сгорел и разграблен.

– Не обижают ли старики-то?

– Да что ты! Они ласковые, хвалят, помощница, говорят. – Однако же вздохнула...

– Небось уж суженого подыскали... – сказал он насупленно. Потому как двадцать лет девушке, давно пора...

Настя покачала головой:

– Они говорят: «Сироту как неволить, решай сама...»

– Ну и... решила уж?

Она глянула прямо:

– Коленька, да кому я нужна-то, вечно хвораю да без приданого. Кто возьмет...

Господи, «кто возьмет»! Теперь казалось: все годы тосковал о ней, хотя, по правде говоря, вспоминал не так уж часто. С лаской вспоминал, но как о прошлом, о невозвратном... И вот вернулось оно. Будто не просто девочка Настюшка, а все доброе и сердечное, что было в детскую пору...

Свадьбу сыграли скоро, в декабре. Тихую, но радостную. Евдоким Михалыч и жена его Оксана Тарасовна сказали Николаю:

– Пока учишься да плаваешь, живите у нас. Мы к Настёнке привыкли, горько расставаться сразу-то...

На том и порешили.

Ну а расстаться все же пришлось – в сентябре, когда Николай отплавал нужный срок и получил наконец бумагу с двуглавым орлом и печатью, украшенной скрещенными якорями. Прав бумага давала не столь уж много: на управление небольшими судами в плаваниях между портами одного моря, что называется малый каботаж. Однако же можно было поступить шкипером на какой-либо парусник из тех, что резво снуют между черноморскими гаванями. Для начала казалось: другого и не надо! Ежели на военный лад сравнивать – морской офицер. А родное море – оно широкое, хватит простора, чтобы поплавать.

Однако же сразу поступать на судно не стал. Решено было вернуться с Настенькой в ее родной дом – ей тоже вдруг захотелось в прежние места. Ну и что же, что город порушен? С Коленькой нигде не страшно. А он обещал ей, что до весны в рейсы ходить не станет, обживутся вдвоем на берегу.

Американец со своей конторой к тому времени из города пропал, за подъем затопленных кораблей взялся купец Телятников. Маркелыч поступил к нему на прежнюю работу – возить с рейда на берег добытые из воды вещи и припасы. Два раза, правда, ходил на шхуне «Иголка» в Одессу за инструментами и водолазным снаряжением – это когда постоянный штурман «Иголки» ударялся в запой и мог привести парусник не в родимую гавань, а куда угодно, хоть в бразильский порт Рио-де-Жанейро... Настенька вздыхала, но не спорила. В доме она завела чистоту и порядок, а Николай в ее честь и ради праздников несколько раз палил из своей «кегорны» на радость мальчишкам, к снисходительному одобрению соседней и служебному негодованию Куприяна Филиппыча Семибаса.

Сейчас, однако же, Куприян Филиппыч про нынешнюю стрельбу более не вспоминал, а, разомлевши после очередной чарочки, говорил о прошлом: как отбивали один штурм за

другим и что, если бы не приказ Горчакова уходить по мосту, может, и вернули бы курган отчаянным героическим напором и скинули бы напрочь дивизию Мак-Магона.

Николай больше помалкивал и кивал. Почему-то вновь припомнился барабанщик...

Настенька, чтобы не мешать мужскому разговору, ускользнула на кухню и звякала там посудой, напевая при этом протяжное, но без грусти.

Филиппыч оборвал себя на полуслове, прислушался.

– Ласковая она у тебя, Маркелыч. Дал тебе Бог радость...

– Дал... – улыбнулся Николай. Но за улыбкою опять скользнула грусть. Уже не из-за военной памяти – из-за иного... И Семибас понял сразу, хотя и выпил уже изрядно.

– А что... это... Никаких признаков, да?

– Никаких... Я утешаю: все, мол, еще будет, а она не верит. Плачет иногда, хочу, говорит, Катеньку...

– А тебе небось мальчонку хочется?

– Да мне, Филиппыч, хоть кого. Девочка, она, может, и лучше даже, ласковее...

– А у дохтура была?..

– Была у повивальной бабки, у Антонины, что на Аполлоновке. Та говорит: надо ждать да молиться. Это, говорит, может от контузии, что тогда, в детстве...

– Молиться – оно конечно, однако бы и к дохтуру...

– Боится. Как же, мол, я к нему, он же мужчина... Я ей: «Глупая, доктор – он не мужчина вовсе, а просто человек, поставленный для общего излечения». Может, уговорю...

– Уговори... А пока вот что. Ты же слышал небось про Татьяну Фаддеевну Лазунову, что сняла комнаты у Кондратихи. В квартале отсюда, под тобой. Она не то чтобы совсем дохтур, но медицинское понятие тоже имеет, потому как взялась помогать в лечебнице при пароходной конторе. Сведи Настеньку к ней. Она женщина обходительная, недавно я с ней говорил, упреждал, чтоб мальчонка ее не слишком дружился со здешними огольцами.

– Сведу, упрошу... А чего мальчонке-то не дружить со здешними? Огольцы как огольцы, на то и дети. Сам таким был...

– Оно конечно. Да упредить-то я должен, служба...

## Капитан Гаттерас и кентавры

В квартале от хаты Маркельча, ниже по Косому переулку, тоже праздновали именины – в горбатом двухкомнатном домике с пристроенной кухней под плоской черепичной крышей. Ярко горела керосиновая лампа с широким фитилем. Из кухни пахло пирогом со ставридою, который умело пекла соседка Лизавета Марковна – она подрядилась за небольшую плату помогать госпоже Лазуновой по хозяйству. Слышно было, как попыхивает круглый, будто глобус, самовар. Его лишь вчера купили по случаю на базаре, что раскидывался каждый день неподалеку на пологом спуске, у каменной стены Седьмого бастиона.

На скатерти уже стояла тарелка, полная жареных пирожков с вишневым вареньем. До того как сядут за стол, трогать угощение не полагалось. Коля, однако, украдкой сжевал уже два пирожка и теперь облизывал пальцы. И вытирал их подолом праздничной рубашки. Он не хотел оставить масляные следы на подарке.

Подарок был замечательный. Тё-Таня купила его в симферопольской книжной лавке и до нынешнего дня прятала от племянника. Это был годовой комплект журнала «Земля и море», издаваемого в Петербурге. Точнее, не совсем еще годовой. Не хватало двух последних номеров. Они должны были выйти к Рождеству и в продаже появиться в начале будущего года. Хозяин лавки божился, что вышлет эти номера госпоже Лазуновой по почте, взявши на себя все расходы. И как бы в подтверждение того, что комплект будет полным, выдал для него роскошный коленкорковый переплет с золоченым орнаментом по краям.

В орнамент были вплетены якоря, парусные корабли, конные рыцари, глобусы, воздушные шары и экзотические звери. А посреди обложки красовалась цветная картинка, на которой среди голубых и белых льдов решительно шагал одетый в меха человек с устремленным вдаль взглядом.

Это, без сомнения, был капитан Гаттерас из романа француза Жюль Верна, который печатался в журнале из номера в номер...

И сейчас, положив на край стола еще не сшитые журналы (а обложку с картинкой – отдельно), Коля вдохновенно листал номер за номером. Там было много всего – про давние экспедиции и новейшие корабли, про чудеса заморских стран и обычаи диких племен, про загадки природы и движение комет... Но главное – история неустрашимого капитана, который всей душой стремился к Северному полюсу. Не хватало терпения читать подряд, и Коля торопливо листал номер за номером, выхватывая из романа самые главные (как ему казалось) куски... Ох, до чего же досадно, что нет последних номеров! Достиг ли полюса несгибаемый Джон Гаттерас?

Даже и будь номера, узнать про конец путешествия сейчас не удалось бы. Явились женщины с пирогом и самоваром.

– Николая, чтение потом! Доставай чашки... Лизавета Марковна, а вы куда? К столу, к столу!

– Да полно, Татьяна Фаддеевна! Кухаркино ли дело с хозяевами именины праздновать...

– Что за фантазии! Мы же договорились, что вы не кухарка, а моя помощница... И Сашеньку надобно позвать... Коленька, сходи, пригласи Сашу к чаю. Что же это она одна сидит дома в такой вечер.

Саша была дочка Лизаветы Марковны. Тихое, полупшепотом говорящее создание одиннадцати лет. С коротенькими темными косами, с завитками на висках и маковыми конопушками на переносице. С глазами непонятного цвета, потому что всегда под ресницами. При встречах с Колей она быстро взглядывала из-под этих ресниц и одними губами говорила «здрасьте». И Коля каждый раз ощущал непонятную досаду. А еще... Да никаких «еще»! Досаду, вот и все!

Сашин отец трудился кочегаром почтового парохода «Русь», что ходил от здешнего порта до Керчи. Нынче пароход был в рейсе, и Саша сидела сейчас дома одна... Ну и сидела бы! Чего ей здесь-то! О чем с ней говорить? Не о Северном же полюсе! Она небось о нем и не слыхала, думает, что земля плоская, как сковородка...

Не будь здесь Лизаветы Марковны, Коля уперся бы: зачем ему в гостях девчонка? Да еще, наверно, такая, что и грамоты не знает.

Но «воспитанные мальчики не скандалят при посторонних».

Вздыхая, Коля в сенцах сдернул с вешалки и накинул армячок. А сапожки натягивать не стал. Так и выскочил в холодную синюю темень в домашних башмаках (бывших Тё-Таниных туфлях с отбитыми каблуками). Домик Сашиных родителей стоял выше по косогору, двор его с каменным заборчиком нависал над здешним двориком террасой. К пролomu в заборчике вела лесенка из стертых подошвами каменных брусев. Вверху под крышей светилося окошко. За ним коротала вечер та, кого следовало приглашать.

Ох... Но что делать-то! Он попрыгал (чуть не теряя туфли) вверх. На последней ступени оглянулся – одновременно с догадкой. О том, что тетушка послала его не только за Сашей, но еще и для тайной проверки: не испугается ли пойти в темноте? Пфы! Думает, что он все еще как младенец!.. Да и полной темноты нет. Над крышами видно, что на западе светятся в небе желтые остатки заката, в которых дрожит золотым расплавленным шариком вечерняя звезда Венера. Море у горизонта хранит в себе ртутный отблеск и лишь ближе к городу становится почти таким же непроницаемым, как черные берега.

В этой непроницаемости мигает на Константиновском форте рубиновый маяк да горят зеленый и красный огоньки на буях, отмечающих проход в бухту среди все еще не поднятых со дна кораблей.

Воздух тихий, с сухими иголочками холода, и все же ощущается в нем чуть заметное шевеление. Дыхание моря. И в этом дыхании запах соленой воды и водорослей, сухой полыни и теплых (все еще теплых, несмотря на зиму!) слоистых каменных берегов.

Коля вдохнул этот запах, и... ка-ак ахнуло! Над головой. Почудилось даже, что мелькнуло в небе отражение желтой вспышки. И подскочила земля! Коля присел на корточки и прижал к ладоням уши. Не от страха – от неожиданности. Испуга-то почти не было. Он сразу понял: это мортира веселого Маркелыча, о котором говорили ребята. Упреждали, что надобно ждать салюта!

А тетушке про то неведомо, вот небось перепугалась!

Коля засмеялся, вскочил и шагнул в пролом забора. На крыльце постучал а шаткую дощатую дверь. Тихо было. Еще раз постучал. Услышал из глубины слабый голосок:

– Та заходите, не заперто...

Видно, в здешних местах не боялись воров.

В темных сенях светилась щелью внутренняя дверь, Коля потянул ее за край. Саша съеденно сидела на лавке, обняв обтянутые пестрым оборчатый платьем колени. В свете лампы искрились темные глаза и колечки на висках.

– Здравствуй! – как бы с разбегу сказал Коля.

– Здрасьте... Ой, я так перепугалась...

– Разве я страшный? – храбро усмехнулся он.

– Та я не вас, а пушки...

– Это же Маркелыч, который живет над вашим домом! Он в честь праздника!..

– Я знаю, уже не впервой. А все равно каждый раз такой страх... Как тут люди жили при осаде?

– Попривыкали, вот и жили, – отозвался Коля все с той же храброй ноткой.

Он, когда шел сюда, боялся, что будет смущаться, потому что раньше рядом с девочками всегда ощущал себя нескладным и поглупевшим. Но сейчас орудейный выстрел будто стряхнул с него застенчивость.

– Пойдем к нам чай пить! Тетушка приглашает... Потому что я именинник. Ну, то есть я тоже приглашаю...

– Ой... – Она спустила с лавки ноги и взяла себя за плечи. – Не...

– Да отчего же «не»? Вот смешная! Пойдем... Саша!

Она призналась шепотом:

– Я стесняюсь...

Он не стал уговаривать и уламывать, как, наверное, полагалось бы: «Да чего же стесняться? Все будет славно, не бойся». Сказал сурово и прямо:

– Экая беда! Постесняешься и привыкнешь. А у нас зато есть к чаю конфеты с лимонным сахаром. Идем! Нельзя долго упираться, ежели в гости зовут.

– В гости надо платье красивое...

Ну, тут она, кажется, хитрила. Платье и так было нарядное. С ярким рисунком из разноцветных колечек, с тройным рядом кружевных оборок на рукавчиках и широком подоле. Может быть, она тайно ждала приглашения?

Коля совсем расхрабрился:

– Ты и так вся красивая! Пошли! – И взял ее за руку. За тонкое запястье (в котором вдруг проклюнулась теплая жилка).

Саша мягко освободила руку. И оба смутились. Потом Коля сказал уже с досадою:

– Право же, непонятно, чего ты боишься? Там же твоя мама...

– Ну... тогда я только чоботы надену... – Она выгребла из-под лавки высокие и широкие ботинки без шнуровки, сунула в них ноги. – Идите к двери, я лампу задую.

Коля вышел на порог. Саша тут же появилась рядом. У лестницы он опять взял ее за руку:

– Здесь такие ступени, можно свернуть голову.

Саша засмеялась тихонько (от губ пошли теплые комочки воздуха):

– Да что вы, я здесь каждый камушек знаю. Это я должна вас держать, давайте... – И стало непонятно, кто кого держит. И так добрались до Колиного дома.

Тё-Таня ждала их, конечно, на крыльце. Снаружи спокойная, а внутри (уж Коля-то знал!) полная тихой паники. Наверняка решила, что мортирный выстрел разнес любимого племянника в клочья.

– Наконец-то! Мы ждем, ждем... А тут еще эта ужасная стрельба!

– Это Маркелыч, верхний сосед! Салют устроил!

– Лизавета Марковна объяснила. Но все равно такой страх...

«Все девчонки одинаковы, даже взрослые...»

– Заходите... Сашенька, а ты в одном платье! Такой холод...

– Я привычная...

У порога она скинула чоботы и опять стала тихая, присмирившая. За столом на тетюшкины вопросы отвечала шепотом, чай пила из блюда, которое держала, отодвинув мизинец. Осторожно дула на горячее, вытянув губы трубочкой. На мочках ушей у нее дрожали похожие на божьих коровок сережки. Облитые желтым сахаром длинные конфеты она брала двумя пальчиками и откусывала мелкие кусочки.

Татьяна Фаддеевна вышла из-за стола и сообщила, что в честь именинника следует сыграть торжественную музыку. Села к расшатанной фисгармонии. Этот старинный инструмент вдова Кондратьева вместе с остальной мебелью оставила в полное распоряжение новых жильцов (а сама, получивши деньги вперед, укатила к дочери в Евпаторию). Кстати, было непонятно, откуда и зачем эта фисгармония у неграмотной и далекой от музицирования вдовы...

Тетушка бодро исполнила марш Преображенского полка, а после него мазурку. «Лишь бы не заставила танцевать... Да ведь Саша все равно не умеет!»

Фисгармония посвистывала мехами, старательно выталкивая органные звуки.

Тетушка откинулась на стуле.

– Конечно, это не фортепьяно... Да настоящий инструмент здесь, верно, и не достать.

Лизавета Марковна подперла пальцем подбородок.

– До чего же вы, Татьяна Фаддеевна, ловко играете. Сроду такого не слыхала... А музыка эта попала к Кондратихе, можно сказать, с улицы. Раньше-то струмент стоял, говорят, на Шестом бастионе, у офицеров. А потом на ём французы забавлялись и ничего, целым оставили, когда уходили. Кондратиха и подобрала, вернувшись с Северной. Заместо комода.

– Неужто во время войны людям было до музыки? – осторожно сказала Татьяна Фаддеевна.

– А чего ж, везде люди живут. И на войне тоже... Как затишье случалось, так и гулянья были. На Малом бульваре, где памятник капитану Казарскому. Бомбы туда почти не долетали. Бывало, что и французские офицеры, которые в плен попались, гуляли с нашими. Когда пленный, он ведь уже не враг... Любезные такие... Ну, а уж перед самыми-то штурмами стало оно не до гуляний...

– Не, маменька, на бастионе стоял не этот инструмент, а пианина. Большая, – вдруг проговорила из-за блюда Саша. – Отец Кирилл сказывал. Потому бастион и назывался Музыкальный.

– Ну, может, и так. Сейчас уж мало кто помнит, как было в точности. Всякие сказки сказывают. Порой страх такой. Будто по развалинам на Екатерининской чьи-то души в белых рубахах гуляют да водят при луне хороводы...

Коля насторожил уши. Хороводы призраков – это интересно. И не очень страшно, если при лампе, среди людей и в своих стенах. Однако Лизавета Марковна вздохнула и примолкла. И тогда Саша вмешалась в беседу снова:

– Маменька, а ты скажи еще о трех дядьках на конях. Как они старуху искали...

– Ой, да выдумки это. Мало ли чего болтают...

– Ну и пусть выдумки! Зато интересно! – оживился Коля.

– Ну, если интересно... Сказывают, будто в самом начале, когда только первые *ихние* корабли показались у наших берегов, к одному часовому подошла на закате женщина. Сгорбленная, в лохмотьях. Часовой-то стоял недалече от здешних мест, в карантине у колодца... Подошла и просит: «Спрячь меня, солдатик, где-нибудь, ищут меня недобрые люди...» – «Да где же я тебя спрячу, места нет подходящего, пусто кругом...» – «Ну, так я сама спрячусь, ты только меня не выдавай тем, кто прискачут на конях. Пускай хоть смертью грозят, не выдавай, родимый...» Он и обещал... Скоро и правда прискакали три всадника: первый весь в черном, за ним – в красном, а после всех – в белой одежде. И все с оружием. Подступили к часовому, саблями грозят: сказывай, где старая женщина! А он отсекся накрепко: никого, мол, не видал, не слыхал. Те, видать, поверили. Пригрозили еще на всякий случай, да и ускакали, будто растаяли. А как не стало их, старуха явилась опять и говорит солдатику. Это, мол, не просто люди на конях, а приметы. Черный предвещает, что город весь превратится в развалины; красный – что будет здесь великое кровопролитие и пожары; а белый означает, что, когда все беды кончатся, станет город краше прежнего... Ох, да когда только наступит это времечко? Осада кончилась давным-давно, а все живем на пепелище...

– А кто была эта женщина? – с некоторой опаской спросил Коля.

– Кто же ее знает? Может, просто гадалка какая-то, а может, судьба наша горькая...

Коля на всякий случай незаметно сложил замочком пальцы. Но тревожиться всерьез не было ни охоты, ни сил. Он вдруг ощутил, что соловьет от тепла и сладкой сытости. Перебрался

на диванчик с гнутой спинкой, что служил ему и кроватью. Здесь лежали в беспорядке номера «Земли и моря».

Саша оглянулась на Колю.

– Хочешь посмотреть журналы? – сказал он. (А что делать, надо как-то развлекать гостью.)

– Хочу... – И она присела рядом. – Ой, это что?

На картинке во всю страницу громадная (толщиной с бревно!) змея обвила кольцами зубастого ягуара и разверзла пасть.

– Анаконда. Есть такие змеи-удавы в далекой стране Южной Америке, на реке Амазонке. Могут даже быка проглотить.

– Это по правде или такая сказка?

– Какая там сказка! Попадись такой «сказке», и вмиг – хлоп, и нет тебя...

– Страх какой... – Она даже придвинулась поближе.

– Конечно! Особенно если ты без оружия! Ну, а если с ружьем или пистолетом, тогда трах ей прямо в пасть! – И он вспомнил пистоль Фрола. Как метко и храбро (теперь и вправду казалось, что храбро) он, Коля Лазунов, пальнул по бутылке. Мог бы и в пасть анаконде...

Дальше было еще немало картинок с подписями и краткими рассказами. Египетские пирамиды, нападение индейцев на американский экипаж, аэростаты новейшего вида, фрегаты и броненосные корабли, индийские храмы и рыцарские турниры древних времен...

Вообще-то Коля с большим желанием рассказал бы о путешествии Джона Гаттераса через льды, но понимал, что Саше интереснее такая вот заморская пестрота. Ладно, и это неплохо...

– Коля, смотрите! Разве они тоже бывают взаправду?

– Нет, это миф. То есть сказка. Из Древней Греции. Это центавры.

– А не кентавры?

– Ну, можно и так... А ты откуда про них знаешь?

– Отец Кирилл говорил. Который нас грамоте учит, у него дома вроде как школа... Я нашла осколок с похожей картинкой, показала ему: не грех ли собирать такие. А он засмеялся, говорит: собирай на здоровье. Это, говорит, в далекие времена здешние люди лепили посуду с такими картинками, на которых всякие сказки. Картинки эти ничуть не грех, ежели им не молиться, а просто смотреть...

– А что за посуда? Где ты находила осколки?

– В Херсонесе, где монастырь. Там их много. И всякого другого... Там раньше город был, в старые-старые годы, а потом его разрушили то ли татары, то ли еще кто...

– А, ну это известно! Говорят, он погиб после осады. Она была вроде этой, недавней, только пушек тогда еще не придумали. Зато швыряли из катапульт горшки с горящим зельем...

– Вот страх...

– Ну что ты все «страх» да «страх»!.. А эти посудные осколки, они теперь где?

– Дома. Принести?

Не успел он сказать «не беспокойся, потом», как она раз – сорвалась и умчалась!

Лизавета Марковна и тетушка только руками всплеснули. А Коля досадливо понял, что надо идти следом, долг обязывает. Но за те полминуты, пока долг боролся с неохотой, раскрасневшаяся Саша примчалась обратно. С синим узелком в руке. Торопливо развязала его, положив на колени, раскинула широкий платок.

На платке оказались черепки, цветные каменные бусинки, черные неровные монетки, флакончик из перламутрового стекла. Посудных осколков было больше всего. Одни – шероховатые, кирпичного цвета, с выпуклым орнаментом на кромках. Другие – лаковые, черные с коричневым рисунком или, наоборот, коричневые с черным. Различимы были греческие профили с кудрявыми головами, львиные гривы, колесо повозки, часть корабля с загнутой, как рыбий хвост кормой. Жаль только, что ничего целого.

Но нет, было и целое! Почти...

– Вот... – Саша с коротким выдохом перевернула большой выгнутый осколок.

На темном, как уголь, лаке были красно-коричневые фигурки с черной прорисовкой лиц, складок одежды и завитков волос. Кентавр с кудрявой бородой, женщина в широком хитоне и тоненький босой мальчик с перехваченными шнурком волосами и в легкой рубашонке (кажется, называется «туника»). Лица у всех троих были спокойны, однако в позах ощущалось действие. Кентавр держал своей ручищей руку-стебелек мальчика и притягивал к себе. Мальчик слегка упирался, но, видимо, не из боязни, а скорее, из баловства. Женщина с заметной тревогой придерживала мальчишку за плечо: «Ну куда же вы его хотите увести?»

По верхнему краю рисунка тянулись квадратные завитки эллинского узора. Задняя часть лошадиного туловища кентавра была отколота. Ноги женщины и нижний край хитона – тоже. А мальчик весь был целехонек – гибкий, шаловливо-упрямый. Живой...

Саша тепло прошептала у Колиной щеки:

– Смотрите, кентавр, наверно, задумал превратить его в такого же, как он сам, наполовину лошадь...

– Ну, если и превратит, то не насовсем, а на время. Чтобы попрыгал по лугам, как жеребенок. Попрыгает и вернется к... маме... – включился в игру Коля. И почему-то смутился.

– А если не вернется? Ой, вот страх...

– Опять это слово! – старательно возмутился Коля, чтобы прогнать смущение. – «Страх» да «страх»! Еще раз скажешь так, тогда...

– Ой... а что будет? – Она вроде бы испуганно сощурила один глаз и сморщила переносицу.

– Тогда... щелчок по носу! Во... – Коля сложил колечком указательный и большой пальцы.

– Ой...

– «Ой» тоже нельзя говорить, это все равно что «страх»... – расхрабрился Коля.

– Ладно... – покладисто сказала Саша. – А вот смотрите еще...

– И не говори мне «вы». Что это такое? Я тебе кто? Наследный принц? Я же не говорю тебе «смотрите-извините»...

– Но вы же из образованных, а я...

– Будет щелчок! Как за «ой» и за «страх»!

– Ой... Нет, это не считается, это я нечаянно. Больше не буду.

– То-то же...

– Смотр... ри... Вот эти бусинки... Отец Кирилл сказал, что их носили такие тетеньки две тыщи лет назад... – она мизинцем показала на женщину, которая удерживала мальчика. – Вот, здесь даже нарисовано...

– Да, видно... – Они склонились над осколком, почти коснувшись висками. Потом Коля поднял к глазам черную монетку. – Саша, смотри! Здесь, кажется, Геракл борется со львом.

На монетке в самом деле сплелись крошечный гривастый лев и мускулистая человеческая фигурка.

– Льва-то я давно разглядела. А этот Гер... какл... он кто?

– Греческий герой. Он совершил двенадцать подвигов. И один из них – борьба со львом. Геракл его задушил.

– Ой стр... Нет! Я не досказала!

– Ты не досказала «страх». Но сказала «ой». Подставляй...

Саша вздохнула, зажмурилась и вытянула вперед лицо с носом-клювиком. Костя, замерев, коснулся клювика ногтем.

– Вот так... А в следующий раз будет со стр-рашной силой...

Тетушка и Лизавета Марковна, беседуя о своем, ушли в другую комнату. Коля и Саша поразглядывали еще, пообсуждали полусшепотом херсонесские находки. Саша призналась тихонько:

– Я их пуше всего на свете люблю собирать. Когда ишу, будто сама попадаю... в ту страну... Там, говорят, было красиво...

– Еще бы! Там везде стояли белые храмы с колоннами и статуи...

– А мальчишки надо мной смеются. Они сами-то пули да осколки собирают и вообще всякое, что осталось от войны. Чтобы продавать приезжим. А про мое говорят: «Кто это купит!» А я и не хочу продавать...

– Саша, а мне ты покажешь, где такие находки?

– Конечно! Только это надо когда тепло, сейчас земля замерзла и пальцы стыннут...

Коля быстро глянул на тонкие Сашины пальцы с коротко остриженными ногтями и перевел глаза на черепок с кентавром. Взял, подышал на него, потер обшлагом нарядной желтой рубашки. Лак заблестел сильнее, а мальчик будто шевельнулся.

– Нравится? – шепотом спросила Саша.

– Еще бы...

– Коля... Тогда я вам... тебе это дарю.

– Да ты что!

– Не отказывайся. Ты же именинник, именинникам обязательно делают подарки.

– Ой, Саша... – выдохнул он стесненно и обрадованно.

– Ага! – обрадовалась и она. – Подставляй нос!

– Как? Отчего это?

– Ты сказал «ой»!

– Но... про меня же уговора не было!

– Ну и что же, что не было! Получается не по правде!

Счастливо жмурясь, Коля повернул к ней лицо и вытянул шею. И носом ощутил касание гладкого ноготка.

– Это на первый раз. А потом будет со стр-рашной силой... – и Саша засмеялась, будто посыпались из горсти стеклянные шарики. И Коля засмеялся. И делалось им все смешнее, и скоро они хохотали, откинувшись к спинке диванчика и болтая ногами в одинаковых полосатых чулках. И было бы это неизвестно как долго, если бы не вошли Тё-Таня и Сашина мама.

– Сашенька, пора домой. Скажи «спасибо» и «до свиданья»...

Когда они ушли, Коля посидел еще, улыбаясь, сложил в папку журналы и опять потер обшлагом древний черепок.

– Тё-Таня, взгляните, что Саша подарила.

– Ну-ка, ну-ка... – Татьяна Фаддеевна водрузила пенсне, которое надевала не столько ради остроты зрения, сколько для «представительства». – Ох, да это же осколок эллинской вазы! Какой прелестный фрагмент! Здесь целая жанровая сцена...

– Да! – Колю словно бесенок толкнул колючим локтем. – Это знаете что? Это...

В прежние дни Коля не решился бы так шутить, чтобы не искушать судьбу. И чтобы лиш-ний раз не вспоминать плохое. Но сейчас он ощущал счастливую защищенность от прошлого и радостную уверенность, что дальше все будет хорошо. И отомстил беспощадной шуткой за недавние петербургские дни, за свои слезы и стыд.

– Это вы, я и адмирал. Он тащит меня в корпус, а вы не отдаете...

– Николя!

– А что? Разве не похоже?

– Совершенно не похоже, – сухо сказала она по-французски и сняла пенсне. – Даже не понимаю, мон шер, что за фантазия... И зачем ты опять вспоминаешь об этом?

«Чтобы *не бояться* вспоминать. И чтобы *вообще не бояться*». Но этого он не сказал, а отозвался беспечно:

– Да так... – И опять погладил осколок. Словно просил у него прощения. Потому что в самом-то деле на древнем рисунке было совсем не то. Была веселая сказка. Наверно, кентавр уговорит женщину отпустить сына с ним в широкую скифскую степь и превратит его на часок-другой в быстрого кентаврёнка. И тот делается похожим на мальчишку-всадника, который солнечным осенним днем скакал рядом с вагоном. Долго скакал. Словно хотел навсегда запомниться Коле. И запомнился...

## «Ты никогда не станешь моряком...»

Это было в начале октября, вскоре после Покрова. Суетливый поезд, свистя и дымя, спешил из Петербурга в Москву. В купе, кроме Татьяны Фаддеевны и Коли, ехала престарелая дама в старомодном салопе и ее прыщеватая племянница лет шестнадцати. Старуха (от которой пахло аптекой) постоянно дремала, укрывшись шотландским пледом. Племянница, сидя прямо, словно с привязанной к спине палкой, все время читала немецкую книгу с унылым готическим шрифтом и время от времени отрешенно взглядывала поверх нее. И мимо Коли. Это была скукотища.

Зато снаружи был праздник!

Коля торчал у окна в тесном коридорчике. За окном густо синело безоблачное небо, убежали назад мимо окна и плавно поворачивались у горизонта разноцветно-желтые леса. В них прятались лужайки со стогами, приземистые деревенки и маленькие церкви с ярко-белыми колокольнями. Такая красотища... Ее чуть не испортила тетушка. Она оказалась рядом и конечно же не упустила случая внести в эту красоту воспитательную струю. Принялась цитировать стихи «Железная дорога», что позапрошлой осенью были напечатаны в ее любимом журнале «Современник».

– Помнишь, Николая?

Чудная осень! Здоровый, ядрёный  
Воздух усталые силы бодрит...

А за картиною прекрасной природы – народные страдания:

В мире есть царь, этот царь беспощаден.  
Голод – названье ему...

Коля все это знал и помнил. И про глупого генерала с сыном Ванечкой, и про подрядчиков-грабителей, и про народные страдания. Но сейчас было *другое*. Коля потерпел минутную, а потом жалобно попросил:

– Тё-Таня, можно я просто так посмотрю, без этого...

– Без чего без *этого*?

– Ну... без словесности.

Она пожала плечом и ушла в купе. Коля ощутил царапанье совести, но за окном распахивалось сине-золотое чудо, и он отложил покаяние на потом.

Лес опять отступил от полотна, и открылась узкая луговина с густой, местами еще не увядшей травой. По траве скакали на лошадях деревенские мальчишки.

Впереди на ярком гнедом коньке мчался золотоволосый, как осень, мальчишка (наверно, Колин одногодок). Не было ни седла, ни сбруи, но мальчик сидел слитно с конем, прямо – будто не пастушонок, а кавалергард. Вытянул вперед босые ноги, одну руку положил на лошадиную холку, а другую вскинул в приветственном жесте. И опять же не как сельский ребяенок, а будто римский император, объезжающий строй легионеров. Струилась рыжая грива, рвалась похожая на коротенький плащ синяя рубашка, отлетали назад мальчишкины длинные волосы и, казалось, были частью осенней листвы... И скакал он долго, далеко обогнав приятелей. Отставал медленно и все не опускал руку. А когда наконец заслонили мальчика березы, Коля понял, что смотреть просто на лес и деревни уже не так интересно.

Он втиснулся в купе, сел рядом с тетушкой, которая невозмутимо (почти как девица с немецкой книжкой напротив) читала томик стихов графини Ростопчиной. Потеря плечом о ее саржевый рукав.

– Что скажете, мон ами? – осведомилась она, не отрываясь от чтения.

– Ну вот... Теперь я готов слушать Некрасова... или хоть кого...

Она взлохматила его темно-русые беспорядочные локоны. Сказала не как интеллигентная любительница словесности, а словно бабушка-нянька, что гуляли с малышами в сквере недалеко от их петербургской квартиры:

– Горюшко ты мое... – И сняла пенсне.

Он, видимо, и правда был ее горюшком.

В начале пятьдесят пятого года Татьяна Фаддеевна Лазунова (урожденная Весли) собиралась ехать на войну. Не она одна. Многие из ее знакомых дам стремились туда же, в южный край, где высадили на наши берега несметную армию англичане, французы, турки и сардинцы.

В том, что ее место именно там, в осажденном городе, у молодой и энергичной Татьяны Фаддеевны не было ни малейших сомнений. Она всегда была человеком долга, как и полагалось настоящему образованному россиянину независимо от пола и возраста. Образцом для нее неколебимо служили жены декабристов. Правда, опального мужа у нее не было. И вообще, увы, не было никакого. Ее супруг, тридцатипятилетний чиновник почтового ведомства Андрей Константинович Лазунов, неожиданно скончался в пятьдесят третьем году от заворота кишок.

Татьяна Фаддеевна ни перед замужеством, ни после него не испытывала к мужу пылкой влюбленности, вышла за него скорее из ясного понимания, что надобно устраивать свою жизнь. Однако же ровная симпатия между супругами ощущалась, и кончину Андрея Константиновича восприняла Татьяна Фаддеевна с резкой горечью, тем более что была на последнем месяце беременности. Из-за нервного сбоя роды получились тяжелыми, девочку спасти не удалось.

Началась вдовья жизнь (в двадцать-то один год!). Родителей уже не было в живых, крошечное именьице ушло за долги, пенсии за мужа еле хватало. А поиски новых женихов представлялись Татьяне Фаддеевне делом недостойным, хотя при желании могла преуспеть: была она не красавица, но с известной долей обаяния.

Таким образом, ничто в Петербурге молодую вдову не удерживало. А Крым звал к себе, тем более что там в первую же бомбардировку (в один день с адмиралом Корниловым) был убит ее брат, поручик Весли. И где же еще теперь быть ей, Татьяне!

Она прошла короткие курсы сестер милосердия, что были организованы попечением великих княжон. Можно было уже ехать, но хотелось еще дожидаться, когда разрешится от бремени Наденька фон Вестенбаум, младшая сестра покойного мужа, с которой Татьяна была очень дружна. Казалось, там все кончится благополучно, поскольку врачи не видели никаких причин для тревоги. Однако же бедная Наденька роды не перенесла, скончалась от неожиданного кровотечения. Ее муж, военный врач Федор Карлович фон Вестенбаум, приехавший с балтийского театра военных действий, был в отчаянии. Однако война есть война, и он был необходим там, где стреляли и наносили раны. Уезжая, Федор Карлович умолял «нашу единственную надежду, милую Танюшу» не оставлять малыша Коленьку. Ибо престарелая матушка Федора Карловича не имела сил взять на себя тяготы воспитания внука, а иных близких родственников и вообще не было.

А она разве близкая родственница? Ведь не родная же тетушка, не по крови. Однако понимание долга теперь вполне логично сместилось от южных баталий к беспомощному крошечному чаду. Оно, это чадо, нуждалось в попечении и защите не менее, чем пострадавшие в боях воины. Там, у воинов, было, в конце концов, немало заботливых целителей, у крохотного же Коленьки – никого, кроме нее. Господь и Наденька, которая теперь, без сомнения, наблю-

дала за земной жизнью из Царства Небесного, не простили бы Татьяне пренебрежения *таким* долгом.

Впрочем, помимо долга руководила молодой вдовой и теплая привязанность к сиротке. Наверно, это проснулись материнские инстинкты и нерастраченная любовь к своему умершему ребенку. И Татьяна Фаддеевна растила мальчика как собственного сына. Только, верная памяти о Наденьке, она не захотела, чтобы малыш называл ее мамой. Объяснила Коле, что мама его на небесах, а она – его самая родная (и такая же любящая, как мама) тетя Таня. С той поры и пошло – «Тё-Таня»...

Федор Карлович, вернувшись с войны, служил при морском госпитале и всячески опекал сына и его Тё-Таню. Нельзя сказать, что между ним и Татьяной Фаддеевной возникли сильные чувства, но была доброта и ласковость отношений, и все шло к тому, что дело закончится брачным союзом. Но злая судьба вмешалась и на этот раз. Делая операцию, Федор Карлович поранил скальпелем руку, в спешке не обработал как следует порез и умер от заражения крови. Случилось это осенью пятьдесят седьмого года, когда Коленьке не было еще и трех лет.

С той поры Татьяна Фаддеевна более не помышляла о личном счастье. Смыслом жизни стал Коленька.

Нет, она не тряслась над ним, как над хрустальной вазой, не баловала без меры, часто напоминала, что «ты – мальчик и должен вести себя как мальчик». Ставила в пример отца, который был «образцом офицерской чести и служебного долга». Много рассказывала об Иване Федоровиче Крузенштерне, коему Вестенбаумы приходились родственниками (правда, очень и очень дальними). Эти истории о знаменитом мореплавателе и его друзьях породили конечно же в мальчике мечты о парусах и заморских землях, увидеть которые (а может, и открыть новые) решил он, как только вырастет...

Впрочем, нравочениями тетушка донимала Колю не часто. Была сдержанно ласкова, а если и проявляла строгость, то в самых разумных пределах. Бывало, правда, в самые ранние годы, что награждала шлепком, но Коленька на это почти не реагировал, только удивлялся на миг. Он, кстати, и не давал поводов для сурового отношения. Рос послушным, никогда не проявлял лентяйства, рано полюбил чтение, с любопытством и охотой впитывал все, чему учила Тё-Таня.

За сдержанно-ровным отношением тетушки Коля чуткой душой улавливал ее скрытую, но горячую любовь. Порой во время нравоучительной беседы начинал смеяться, обнимал ее и с размаха целовал в обе щеки.

– Тё-Таня, ты у меня самая-самая-самая!..

– Николя! Ну, право же, это чересчур! Не забывай, что ты мальчик и должен вести себя как мальчик...

– А я и веду себя как мальчик, который любит свою тетушку!

– Ну, хватит, хватит...

По ночам она молилась, чтобы Господь и святой угодник Николай укрепили характер мальчика, сделали более твердым и пригодным к самостоятельной жизни. Потому что придет время (а оно летит!), когда жизнь эта придвинется вплотную.

А пока жили вдвоем. На две небогатые пенсии – мужа Татьяны Фаддеевны и Колиного отца. Снимали три комнаты на втором этаже в двухэтажном обшарпанном флигеле домовладельца Касьянова на Васильевском острове. Тетушка учила Колю французскому (на котором сама изъяснялась безупречно), греческой мифологии, русской словесности и грамматике, а также начальным действиям арифметики.

Денег хватало не всегда. Татьяна Фаддеевна, вспомнив краткую школу сестер милосердия, продолжила медицинское образование на акушерских курсах. По мнению некоторых знакомых, дело это было не для «дамы из общества», но мадам Лазунова не обращала внимания

на предрассудки. Впрочем, акушерской практикой мадам Лазунова занималась лишь время от времени.

В девять лет определила она мальчика в четырехклассную прогимназию господина Юнга. Заведение было так себе, маленькое, для детей небогатых чиновников и торговцев средней руки. Даже обязательной формы здесь не требовалось. Но все же прогимназия давала право поступить без экзаменов в пятый класс настоящей гимназии. К тому же плата здесь была невысока и (что немаловажно) располагалась школа г-на Юнга совсем недалеко от их квартиры.

Учился Коля без труда. С мальчишками сильно не дружил, но и ссорился не часто. В первом классе пришлось пару раз подраться, когда приставали (и даже поплакал разок), но в общем-то жизнь текла без больших огорчений. Наверно, потому, что в прогимназии не оказалось завзятых драчунов и задир-второгодников.

Летом иногда ездили в Петергоф или в Царское Село, где жила тетина подруга Наталья Сергеевна Рикорд. У Натальи Сергеевны был муж, профессор математики, и двое детей – Миша и Оля, примерно Колиных лет.

Но чаще Коля играл с мальчишками на пустырях за усадьбою Касьянова. Среди них был самый близкий приятель, Юра Кавалеров, сын учителя истории все из той же прогимназии Юнга. Толстоватый и безобидный озорник и выдумщик...

Но больше всяких игр Коле нравились вечера у круглого стола, под большой висючей лампой с граненым стеклом. Здесь, вставши коленями на стул и упершись локтями в край столешницы, можно было часами читать о приключениях капитана Головнина в японском плену или сотый раз листать атлас, прилагаемый к старинной книге Глотова «Изъясненіе принадлежностей къ вооруженію корабля».

Видя такой интерес мальчика к флотским делам, Татьяна Фаддеевна вполне логично пришла к мыслям о морском корпусе. Втайне от Коли (чтобы заранее не обнадеживать ребенка – вдруг не получится!) предприняла она немалые усилия – сама и с помощью друзей Федора Карловича, – чтобы исхлопотать возможность поступления. И удалось! Причем, с зачислением на казенный кошт! Поскольку сирота, сын заслуженного морского врача да к тому же дальний родственник знаменитого адмирала, который в прежние годы сам немало руководил корпусом.

Разумеется, Коля возликовал. Правда, под сердцем ёкнуло, однако дальние морские горизонты засинели так заманчиво, что страх спрятался на самом доньшке души.

И сперва действительно похоже было на праздник. Свет высоких окон, за которыми Нева и рангоут учебного корабля у гранитного причала. Паркетная роза ветров в широком вестибюле. Громадный, почти настоящий фрегат в просторнейшем зале (про зал этот сразу пошел среди новичков слух, что он подвешен внутри здания на цепях и можно при случае ощутить качку; Коля, кажется, и вправду ощутил). А еще – черный со сверкающими пуговицами и белыми погонами мундирчик, выданный в кастильянской красноносый, с седыми бакенбардами унтером – старым и добродушно ворчащим. Мундирчик этот (по правде говоря, слегка потертый) наделся на Колю очень ладно, будто сшитый по заказу. Не то что у некоторых других новичков...

Затем построение, блестящие трубы оркестра, строгие, но с благожелательными нотками в голосе офицеры (один даже сказал не «господа кадеты», а «голубчики»). И радостное желание повиноваться во всем этим просоленным морскими ветрами капитанам всех рангов. Ибо каждая их команда конечно же приближает неопытного мальчика к овладению флотскими премудростями и гордому званию моряка...

А потом пришел вечер, пришло *то самое*, чего он боялся и ждал заранее.

В гулком обширнейшем дортуаре, где в несколько рядов стояли четыре десятка плоских железных кроватей, стали готовиться ко сну. Был веселый шум, баловство, маханье подушками, езда друг на друге, споры, где чье место. А за всем этим – вот она, тоска! Память о родном доме, о Тё-Тане, о граненом стекле доброй старой лампы...

Ну что же, Коля *знал*, что так будет. И Тё-Таня честно предупредила про такое. Это придется преодолеть. По-мужски. Ну... может быть, случится даже поплакать в подушку, никуда не денешься... Лишь бы дотерпеть, когда все лягут, чтобы с головой под одеяло! А то комок в горле растёт и твердеет...

Явился командир младшей роты капитан-лейтенант Безбородько, несердито цыкнул: «Ну-ка все в постель, а то...» Вахтенный унтер дядька Филимон спустил длинным шестом и погасил все три лампы. Осталась лишь лампада у большого образа Николая Чудотворца. И тогда, укрывшись с головой, Коля дал волю слезам. Пожалуй, больше, чем следует будущему кругосветному мореплавателю. Ну да ничего. От других кроватей тоже слышались тихие всхлипы.

В этих слезах была даже капелька сладости. Утешение. Ведь дом-то – он не так уж и далеко, всего в нескольких кварталах. И Тё-Таня там, конечно, сейчас думает о нем, о Коленьке. И, наверно, молится, чтобы Господь уменьшил его ночную печаль... А завтра все будет хорошо. А еще через три дня, в субботу вечером, он пойдет домой, в свой первый кадетский отпуск, в новенькой морской фуражке и парадном мундире с сияющими позументами. Вот уж Юрочка Кавалеров отвесит губу!..

Назавтра все было не так, как мечталось.

Ну, подъем под сигнал сиплого рожка, торопливое ополаскивание лица в тесной умывалке, построение и короткая молитва, чай с суховатой булкой, первый урок, на коем грузный и бородатый капитан первого ранга с неразборчивой фамилией говорил о славном прошлом корпуса и не менее славных правилах морской дисциплины, – все это было ничуть не огорчительно и даже любопытно (хотя в горле все еще сидели колючие льдинки – остатки вчерашнего большого комка).

Затем, после удара корабельного колокола, наступила долгая перемена.

Все шумно выкатились в коридор, и здесь, в бесконечно длинном пространстве, новички смешались с более старшими кадетами. Коля не успел оглянуться, как его оттеснили к стене трое мальчиков лет тринадцати. Самый высокий, с зализанной на пробор белобрысой прической, проговорил с этакой гвардейской небрежностью:

– Тэк-с, молодой человек. Судя по всему, вы новичок?

– Да...

– Следует говорить: «Да, господин кадет второго класса». И почему вы не становитесь во фрунт, когда с вами говорит старший? Ну-с?

Коля на всякий случай стал прямо. И мигал.

– Извольте же отвечать! – тонко возвысил голос белобрысый.

– Что... отвечать?

– Следует говорить: «Что отвечать, господин кадет второго класса?».

Коля придавил в себе колючки самолюбия:

– Но я не знаю, о чем вы... господин кадет второго класса? – Может быть, здесь в самом деле так полагается?

– Я вот об этом! Почему у вас пуговицы разные? – Второкласник вытянул палец к Колиной груди. Тому бы сообразить: шуточка-то известная! Но он растерянно сказал «где» и нагнул голову. Твердые костяшки пальцев с ужаснейшей болью защемили его нос!

– Вот где! Ты гляди, гляди, гляди – позади и впереди!

– А-а-а! Пусти, дурак! – Получилось «дуг'ак».

– Кто «дуг'ак»? Я «дуг'ак»? Это немыслимое нарушение суб-бор-ди-нации! Рахтанов, сколько *сверлилок* положено за такое дело?

– Полагаю, полдюжины, – лениво отозвался чернявый кадет с длинным скучным лицом. – На первый раз...

– Согласен. Бодницкий, займитесь...

Нос отпустили. Но белобрысый и чернявый с ловкостью умелых людей прижали Колины локти к стене, а их приятель – невысокий, с круглой, коротко стриженной головой (видимо, Бодницкий) – вдруг ухватил Колю за локоны, потянул вниз и согнутым пальцем пребольно ковырнул макушку. И еще, еще!..

Коля взвизгнул, неумело лягнул Бодницкого, но тот спешно довел дело до конца. Белобрысый второклассник назидательно сказал:

– Вот так. А в дополнение к вышеозначенному сегодня в обед передадите на мой стол свои полкранца. Я – Нельский, меня все знают...

Капли катились по Колиным щекам. Он непонимающе махнул сырыми ресницами.

– Полкранца значит полбулки, сухопутная деточка, – снисходительно разъяснил чернявый Рахтанов.

Несмотря на слезы, Коля не утратил сил к негодованию:

– Да?! А может, целую?!

– Сразу видно, что новичок, – с удовольствием заметил «сверлильщик» Бодницкий. – Целую к обеду не дают. – После чего все трое разом оставили свою жертву и спешно пошли по коридору.

Коля задохнулся. От обиды, от прихлынувшей боли, от... непонимания! Да, это было хуже, чем боль!.. В прогимназии, где успел он закончить два класса, случалось всякое. Но чтобы с таким вот хладнокровием и презрением, как к букашке... На того, кто слабее... Втроем на одного!

– Нельский, постойте! – он торопливо догнал обидчиков. – Стойте же! Объясните... Да, объясните! Отчего вы так... ко мне... Я же не сделал вам ничего худого...

Нельский изобразил на лице ленивое изумление:

– А мы что худого сделали?

– Это же подло! Трое на одного! Так не дерутся... даже пьяные матросы!

Чернявый Рахтанов трубочкой вытянул губы:

– У-у... А разве была драка? Тебя *учили*... Раньше, когда здесь драли за дурное поведение, ты тоже закричал бы «трое на одного»? Там ведь как было! Двое держат, а командир роты помахивает: ж-жик, ж-жик... Не пробовал такого?

– Вы мерзкие негодяи, – выдохнул Коля, готовый к немедленной смертельной битве. Но Нельский покривился и сказал с зевком:

– Пшел прочь...

А Бодницкий облизнулся и хихикнул:

– Да не забудь про полкранца.

И они, слегка вихляясь, опять двинулись по коридору. А Коля прижался лбом к стене и сдавленно зарыдал. От безысходности и одиночества. Потому что ведь всё это видели и слышали многие и не вступились. В том числе и те, кто был из *его* роты. Те, в ком надеялся он вскоре обрести добрых товарищей... Кто знает, может, и обрел бы со временем. Ведь кто-то уже стоял рядом и сочувственно трогал за плечо. Но... как многое зависит от случайностей. Послышались мерные шаги, и взрослый бесстрастный голос спросил:

– Что произошло?

Коля в ответ захлебнулся рыданием. Прочнее прижался к стене.

– Я повторяю вопрос: что произошло?

– Его обидели... – пискнул совсем младенческий голосок.

– Я спрашиваю не *вас*, а того, кто плачет. Повернитесь же!

Коле повернулся. И, вздрагивая, на миг поднял мокрое лицо. Он разглядел тощего офицера с эполетами капитан-лейтенанта, висячим носом и похожими на шерстяные шарики бакенбардами. Глаза офицера были бледные и нелюбопытные.

– Так что же? Вас обидели?

– Да... – всхлипом вырвалось у Коли.

– Каким образом? И кто?

Коля был не совсем уж домашнее дитя. Кое-что знал и понимал. Даже в прогимназии презирали ябед. А в корпусе их, по слухам, просто сживали со света.

– Но, господин капитан-лейтенант... – рыдание опять сотрясло его. – Я же не могу... быть фискалом...

Похожая на скомканную бумажку улыбка мелькнула на длинном лице. И опять оно стало невозмутимым.

– Прежде всего станьте как подобает, когда говорите с офицером. Смотреть прямо, руки по швам!

Коля дернулся, уронил руки и опять вскинул голову.

– Вот так... Далее запомните. Следует говорить «ваше высокоблагородие», а не «господин капитан-лейтенант». Вы еще не гардемарин, чтобы так обращаться к штаб-офицеру.

– Простите... ваше высокоблагородие...

– Не «простите», а «виноват»... Ваше нежелание выдавать товарищей достойно понимания, однако же в этом случае не следует лить слезы, как девица. Стыдно! Ступайте в умывалку и приведите себя в порядок... Вам понятно?

– Да... То есть так точно, ваше высокоблагородие... – И вдруг вырвалось с тоскливым негодованием: – Нет, непонятно!

Офицер слегка нагнулся над Колей.

– Что именно вам *не понятно*?

– Почему виноваты *другие*, а кричите вы *на меня*? Разве это справедливо?

– Ого! – брезгливая улыбка мелькнула опять. – Я вижу, вы, несмотря на слезы, не утратили штатской привычки к дерзким рассуждениям. Благодарите судьбу, что сейчас иные времена. Раньше вас немедля отвели бы в экзекуторскую и всыпали дюжину горячих. А сейчас я ограничусь докладом вашему командиру роты, который, я надеюсь, рассмотрит вопрос о лишении вас ближнего отпуска... – И капитан-лейтенант пошел по коридору, меряя паркет длинными ногами...

Коля, ослабев от ужаса, побрел в умывалку. Потому что не было ничего страшнее, чем лишиться возможности в воскресенье побывать дома.

Все остальное время он был как в полусне, что-то машинально писал на уроках, автоматически двигался в строю, когда маршировали в большой зал на обед... Нельский и дружки не напомнили ему про «полкранца», но это не принесло облегчения. Командир роты Михаил Михайлович Безбородько тоже не сказал ни слова об утреннем случае в коридоре, но в его молчании чудилась угроза. Ведь о лишении отпуска он мог объявить лишь вечером в субботу...

И все время до этого вечера было наполнено тоскливым томлением, пыткой неизвестностью, ожиданием несчастья. Иногда случались проблески надежды: «Да ну, вздор, просто поугали, вот и все! Не станут лишать *первого в жизни* отпуска!» Однако вскоре надежда гасла, и тягучий страх опять становился главным чувством. Коля погружался в него как в вязкий кисель, в котором трудно двигаться.

И как он только выдержал эти двое с половиной суток!

В субботу после обеда тоска сделалась нестерпимой и колючий ком уже совсем забивал дыхание, вот-вот рванется слезами! К счастью, Колю выкликнули в числе первых, за кем приехали, чтобы отвезти домой. И сразу все страхи показались пустяками! И мундир опять стал блестящим! А завтрашнее воскресенье представилось сплошным праздником.

И был праздник! Рассказы о первых уроках, о замечательных классах с моделями кораблей, о строгих, но справедливых порядках. Были визиты ахавших от восторга (настоящий адмирал!) тетушкиных знакомых, умиление «приходящей» кухарки Полины, торжественное чаепитие, изумление Юрки Кавалерова и других знакомых мальчишек (уже как бы отодвину-

тых от юного моряка на немалое расстояние). И был ласковый вечер с лампой и листанием любимых книжек. И... была уже тайная горечь от предчувствия неизбежного нового расставания.

А утром Коля расплакался, едва встал с кровати. И плакал безутешно. Татьяна Фаддеевна слишком хорошо знала мальчика, чтобы почувствовать: это не просто печаль разлуки. Начались расспросы, и открылось, что в ощущениях Коленьки нет и капли того мажора, который он демонстрировал накануне. И что в корпусе все не так, все *наоборот*.

– Но отчего же ты не сказал всего этого вчера?

– Я *крепился*...

Разумеется, она сумела уговорить его крепиться и дальше. В скором времени придет привычка, найдутся друзья, новый образ жизни покажется естественным и даже приятным.

– Ведь впереди, мой мальчик, у тебя океаны...

Он всхлипывал и отворачивался.

Сердце тетушки надрывно болело, но что делать? Женщины не должны воспитывать мальчиков до взрослости, надобно думать о будущем. А могло ли быть более блестящее будущее, чем у морского офицера? К тому же за казенный счет...

Короче говоря, умытый и сдавшийся на уговоры Коля утром в понедельник был отвезен на извозчике в корпус. И пошла новая неделя.

На этих днях не случилось ни заметных обид от мальчишек, ни придинок от начальства. Капитан-лейтенант с бакенбардами-шариками оказался совсем не злым преподавателем азов морского дела. О стычке в коридоре он Коле не напоминал и даже похвалил новичка за открывшееся в нем знание рангоута и такелажа (вот она, польза от атласа Глотова!). Однако же облегчение не приходило.

По неписаному правилу плакать по ночам новичкам позволялось не более трех первых суток. Далее виновный мог быть объявлен маменькиным сынком, слабачком и «мамзелем». И Коля не плакал. Не из-за страха перед прозвищами, а из последних остатков гордости. Но зажатые слезы лишь сильнее делали неизбежную тоску.

Что поделаешь, если он такой уродился!..

Тоска не исчезала, а лишь каменела от того, что на глазах у одноклассников и взрослых приходилось вести себя подобно всем остальным (даже улыбаться иногда!). А по ночам рождались отчаянные планы. О том, как надерзить кому-нибудь из командиров, чтобы с треском выгнали из корпуса. Или... похитить из кастильянской еще не возвращенное домой цивильное платье, занять у мальчиков под честное слово несколько рублей и пробраться на иностранный корабль, уплывающий к американским берегам...

Да, он *крепился* в корпусе, но перед тетушкой крепиться уже не стал. В следующий субботний вечер вылил на нее все свое отчаяние.

Они были вдвоем, кухарка Полина уже ушла. Разговор получился ожесточенный, со слезами и резкими словами с двух сторон. Тетушка говорила по-французски. О том, что он, Коля, такой же, как все остальные мальчишки, и не имеет права проявлять постыдную мягкотелость. Другие же терпят и привыкают!

– Ну и пусть! А я не могу!

– Надо уметь подчиняться обстоятельством это свое «не хочу»!

– Я не сказал «не хочу»! Я *не могу*!

– А что вы, сударь, можете? Жить под тетушкиной юбкой до женитьбы?

– Не надо мне никакой женитьбы!

– Тогда до старости?

– Ну и... да. Кто-то же должен будет кормить вас на старости лет!

– Вы... нахал. И дерзкий мальчишка. Ступай спать... – Видимо, она сочла, что утро вечера мудренее.

Следующий день был мучением. С утра – тяжкое молчание, затем (вот пытка-то!) опять визиты знакомых, при которых надо притворяться счастливым избранником судьбы. А вечером – снова разговор о том же:

– Давай рассуждать спокойно и разумно. Я понимаю, что привязанность к родному дому – благородное и сильное чувство, которое достойно того, чтобы...

Нет, она все же не понимала. Дело было уже не в привязанности к родным стенам, граненой лампе, привычным книгам и к ней, Тё-Тане. Вернее, не только в нем. Дело было в *безысходности*. Страх, который возник от первой угрозы лишения отпуска, стал частью Колиного мироощущения. В корпусе была *несвобода*. Там он несколько не принадлежал себе, им полностью распоряжалась чужая воля. Она не всегда была злая, порой даже наоборот, но *не своя*... И мысль, что придется несколько лет пребывать в ежедневном подчинении этой равнодушной воле, была страшнее смерти...

Тетушка вдруг посмотрела внимательно и сказала со вздохом:

– Ладно, ложись. Может быть, ночью... к тебе придет спокойствие.

И оно пришло. Потому что проснулся Коля с четким пониманием: *туда* он больше не пойдет. Так и сказал Тё-Тане. А еще сказал, что чувствует себя дурно и не может встать.

– Мальчик мой, но... так вопросы не решаются. Извини, но это каприз...

– Нет...

– Что «нет»?

– Всё нет!

– Значит... ты никогда не станешь моряком. Так?

– Так. Нет... не знаю. Может, и стану. Для этого не обязательно учиться в корпусе.

– К сожалению, обязательно... А иначе кем же ты собираешься стать?

– Хоть кем... Закончу гимназию и медицинский факультет. Буду доктором, как папá...

– Папá был еще и офицером. И очень огорчился бы, узнав о твоём поведении... Я умоляю тебя: встань и поедem...

– Хорошо... – он откинул одеяло и поднялся с постели. Увидел себя в мутноватом высоком зеркале: с похудевшим серым лицом, растрепанными локонами, в длинной, как саван, рубашке. И сказал опять: – Хорошо. Едем, раз вы велите. Однако знайте, что очень скоро я там умру. – Он полностью верил сейчас, что так и будет. И даже улыбнулся с облегчением. Потом поплыло в глазах...

Полину отправили в корпус к вахтенному командиру – с письмом о неожиданном недуге воспитанника. И – за доктором.

Знакомый доктор Иван Оттович Винтер нашел у мальчика повышенную нервозность и слабость, кои вызваны были, очевидно, излишним обилием неожиданных впечатлений и резкой сменой образа жизни. Сказал, что вскоре все пройдет, и прописал капли.

Принесенные из аптеки капли Коля послушно пил в течение дня. К вечеру тошнота прошла, голова перестала кружиться, осталась лишь легкая слабость. Она не мешала, однако, ощущению прочного покоя. А покой этот, в свою очередь, был вызван окаменевшей Колиной решимостью: пусть он умрет, но в корпус больше не вернется.

Так было и утром. На холодный вопрос тетушки, что он собирается делать, Коля сказал, глядя в потолок:

– Ничего.

Татьяна Фаддеевна слишком хорошо знала племянника. Гнуть мальчика можно лишь до известного предела, дальше – сломаешь. Она поджала губы... и поехала в корпус одна.

Ее принял сам контр-адмирал Воин Андреевич Римский-Корсаков. Он был крайне вежлив, но сух. Ибо ходатайство вдовы Лазуновой о своем воспитаннике конечно же показалось директору корпуса не более чем следствием переживаний чувствительного женского характера. И он сказал вначале все, что она ожидала. О мальчиках, которые не сразу вживаются в

непростой корпусной быт; о привычке, которая выработается со временем; о необходимости мужского воспитания...

– Ваше превосходительство... Я все это говорила Николаю многократно. Со всей доступной мне убедительностью. Он не из тех упрямцев, которые не желают слушать разумных убеждений и отметаюи всякую логику... Однако же здесь нечто такое... Видимо, это одна из тех натур, которая делает его непохожим на большинство мальчиков...

«Видимо, вы никогда не пороли эту натуру», – прочиталось на лице адмирала. Но сказал он иное:

– В наше время смягчения нравов мы прилагаем все усилия, чтобы в корпусе дети видели свой второй дом. Наставники подбираются с особым тщанием. Розги отменены. Воспитанию нравственности отдается немало сил...

– Я знаю, ваше превосходительство...

– И тем не менее вы настаиваете... Но вы же понимаете, сударыня, что ответственны за будущее мальчика. Взявши его из корпуса, вы многое в этом будущем зачеркиваете...

– Я понимаю и это... – Голос госпожи Лазуновой стал тверже. Ибо в ответ на правильные слова адмирала в ней укреплялось свое, обратное этим рассуждением решение. Она сейчас как бы ощутила себя мальчиком Колей. Ощутила тоску и отчаяние, которые испытал бы он, если бы его все же уговорили и повезли снова в корпус. – Я всё понимаю, ваше превосходительство. И тем не менее... Поверьте, мое решение не дамский каприз и не результат душевной слабости. Все гораздо серьезнее...

Римский-Корсаков поднялся из-за стола. Пожал плечами, отчего приподнялись и опали его густые эполеты.

– Воля ваша... Татьяна Фаддеевна. Конечно, вы хорошо знаете мальчика, и, возможно, у него действительно... скажем так... нет никаких склонностей к морской службе. Не смею настаивать далее, чтобы не взять грех на душу. Позвольте, однако, напоследок дать вам совет...

– Я выслушаю его с благодарностью... Воин Андреевич.

– Исключать Николая фон Вестенбаума из кадет приказом за нежелание быть в корпусе конечно же не следует. В конце концов это может стать известным и нежелательно сказаться в будущем. Я полагаю, у вас есть какие-то знакомства с друзьями его отца, Федора Карловича...

– И что же?

– Я говорю о друзьях-медиках. Надеюсь, они не откажут вам подписать бумагу, что мальчик не может находиться в нашем учебном заведении по открывшемуся нездоровью.

– Но... позволительно ли хлопотать о том, что не соответствует истине?

– Это формальность. Она позволит сохранить приличия и оградит вас от необходимости неприятных объяснений при возвращении Николая в прежнюю школу...

Знакомые, конечно, были. Один из главных врачей морского госпиталя Дмитрий Сергеевич Валахов тщательно осмотрел раздетого, бледно-синего от волнения Колю, затем о чем-то долго (видимо, для придания серьезности всему происходящему) говорил со своим помощником Николаем Федоровичем (Колиным тезкой!). Тот, в свою очередь, тоже осмотрел мальчика. Затем они вручили Татьяне Федоровне (которую пригласили из соседней комнаты) бумагу. В ней было написано, что сыну военного врача Федора Карловича Вестенбаума Николаю обучение в военном заведении решительно противопоказано по причине слабости легких.

– Благодарю вас, Дмитрий Сергеевич... – Видно было, что тетушке очень неловко.

– Не стоит благодарности, Татьяна Фаддеевна... Кстати, я чувствую себя преступником, что столь долгое время не навещал вас. Не будет ли мне позволено...

– Дмитрий Сергеевич! В любой вечер! Хоть сегодня же!

– Через несколько дней, если позволите. Когда вы уладите дела в корпусе...

Он и в самом деле явился с визитом на следующей неделе. Колина кадетская форма была уже возвращена в кастелянскую, и он, повеселевший, хотя и смущенный, встретил доктора в

привычной своей штатской курточке. Тот потрепал «пациента» по щеке. Затем глазами показал Татьяне Фаддеевне, что хотел бы остаться с ней наедине. Та под удобным предлогом отослала Колю из гостиной.

– Дмитрий Сергеевич, вы видите, он ожил. Я еще раз хочу поблагодарить вас...

– Голубушка Татьяна Фаддеевна, подождите. Увы, благодарить не за что. Поскольку все написанное в медицинском заключении – правда...

– Господи... – Она села, уронив руки.

– Ну, не впадайте в отчаяние. Это не та стадия, когда надо думать об ужасном. Однако же должен сказать, что уделяя немало внимания, так сказать, нравственной стороне воспитания, вы, видимо, не всегда помнили о необходимости наблюдать за здоровьем мальчика...

– Но он никогда не жаловался!

– К сожалению, бывает, что *это* подкрадывается незаметно. И можно почитать за счастливую удачу тот случай, который привел вас и Колю ко мне. Поскольку неизвестно, когда еще разобрался бы с его состоянием корпусной врач...

– Что же делать? Голубчик Дмитрий Сергеевич...

– Скажу прямо: здешний сырой климат не для мальчика. Весьма благотворной была бы длительная поездка в южные области, на теплое побережье. А еще кардинальнее – постоянное там проживание. Например, Ялта...

## Южный край

Надо знать Татьяну Фаддеевну Лазунову! Особенно в решительные моменты жизни... Под аханья и причитания знакомых дам, которые дружно считали «самоубийственной идеей» так отчаянно срывать с места и мчаться в неведомые края, неизвестно к кому, да еще в осеннюю распутицу, тетушка все решила за неделю. Расплатилась за квартиру, раздарила множество книг подругам, поручила им распродать оставшееся имущество, упаковала чемоданы и купила билеты на поезд.

Коля, не чувствовавший в легких никакой слабости и не очень-то поверивший в свою болезнь, воспринял свалившиеся события как подарок судьбы. Как радостное обещание удивительного путешествия и многих приключений. Ура!.. Он помогал тетушке в сборах и уверял ее, что «здоров, как целое войско спартанцев» и что во время всего пути до Крыма он «даже вот ни настолечко» не вздумает занедужить.

Надо сказать, он сдержал слово. Ни в поезде до Москвы, а потом до Курска, ни в долгом путешествии на лошадях по южной России (целая неделя в тряском экипаже с ночевками на почтовых станциях) он не пожаловался ни на какую хворь. Наоборот, порозовел, глядел на все блестящими любопытными глазами и не показывал ни малейшего утомления. Это можно было бы приписать радостному возбуждению от дороги, но не столь же долгое время!.. Татьяна Фаддеевна робко радовалась и, бывало, крестилась на колокольни тянувшихся вдоль шляха сел и станиц, хотя вообще-то не привыкла показывать излишнюю религиозность...

В маленькой зеленой Балте, куда лишь в прошлом году протянули от Одессы рельсовый путь, снова сели на поезд. А в Одессе прожили три дня, отдыхая от долгой дороги и радуясь укладу большого города. Погода во время всего пути стояла теплая, порой похожая на август. А здесь, у моря, было совсем лето. Правда, желтели уже каштаны и шуршала сухими листьями акация, но цвели на бульваре розы, крепко нагревало камни солнце, а южное море было удивительно синим и спокойным, совсем не похожим на серую Балтику.

Таким оно, море, было и в то утро, когда сели на пароход РОПИТа «Андрей Первозванный».

Пароход был небольшой, но красивый, блестящий белой краской. С чуть склоненными назад мачтами, с длинным (как на паруснике!) бушпритом и плавно выгнутым форштевнем. Коля с новой радостной дрожью ощутил себя искателем приключений и кругосветным путешественником. Одно огорчало – уж слишком благодатная стояла погода. Зато Коля впервые увидел открытое море во всех сторонах горизонта – ничего, кроме воды!

А к вечеру похолодало и солнце село в длинное серое облако. Что это за примета – известно всякому, кто читал морские книжки. И примета не обманула! Часа через два сгустившаяся тьма загудела, в мачтах засвистело (так, по крайней мере, чудилось Коле), в стекла иллюминатора ударили брызги. Пароход качнуло раз, другой. Он пошел носом куда-то вниз, потом вверх, потом опять вниз.

– Это шторм! Я пойду посмотрю! – Коля кинулся к двери каюты.

– Не смей! Не вздумай соваться наружу!

– Но это же шторм!

– Вот именно!.. О-о...

Даже в тусклом свете масляной лампы было видно, какой бледной сделалась тетушка. На лбу ее блестели капли. Согнутым мизинцем она дергала стоячий воротничок платья.

– Тё-Таня, у вас морская болезнь! – радостно догадался Коля. – Не бойтесь, это не опасно! Вы привыкнете!

Морская болезнь – это ведь тоже признак штормовых приключений. Конечно, если она не у тебя, а у других. Сам Коля не чувствовал никаких признаков укачивания, хотя двухместная

каютка уже болталась в пространстве, как картонная коробочка на шнурке, которой играет расшалившийся кот.

– О-о, я не думала, что это такая му́ка... – слабо стенала Татьяна Фаддеевна, привалившись к пыльной спинке плюшевого диванчика. – А ты... ты неужели ничего не чувствуешь?

– Качает! Но ведь так и полагается, если буря! – Не ощущая страданий, Коля (увы!) не мог проникнуться во всей мере и болезненным состоянием тетушки. Он поймал поехавший по скользкому полу баул, выхватил из него лимон. – Тё-Таня, вот! Жуйте прямо с кожурой. Говорят, это очень помогает при качке.

Татьяна Фаддеевна, которой раньше и в голову не пришло бы есть невымытый и неочищенный фрукт, впилась в лимон зубами.

– М-м... О-о...

– Вам легче, да?.. Ну можно мне на минутку на палубу? А то шторм закончится, а я и не увижу!

– Сядь! Не хватало еще, чтобы тебя смыло!

– Я вцеплюсь в поручни!

– Я тебе вцеплюсь... Не суйся за дверь! Ты хочешь моей смерти?

Уж этого-то Коля (конечно же!) не хотел! Осознав наконец серьезность ситуации, он схватил тетушкин веер и начал обмахивать ее, работая, как ветряная мельница.

– Благодарю... Ох... Конечно, это мне за грехи... но что будет с тобой, если я здесь умру?

...

– Да нет же, Тё-Таня, от качки никто не умирает, я читал!.. А еще читал, как от нее спастись! Зажмите нос и надуйте щеки изо всех сил, так чтобы воздух пошел из ушей! Сразу полегчает!

В другое время Татьяна Фаддеевна сочла бы такой совет «неприличным фантазерством». А сейчас, не видя иного спасения, поступила по Колиной инструкции. Неизвестно, пошел ли из ушей воздух, но на короткое время стало тетушке полегче. Или просто в ней возобладало чувство долга. Проглотив кусок лимона и водрузив пенсне, она велела Коле снять сапожки и курточку, укрыться пледом на диванчике и «до утра не предпринимать никаких самостоятельных шагов».

– Может быть, к утру этот ужас кончится...

«Хоть бы не кончился! А то ведь и не увижу...»

Расходившееся море убаюкало мальчишку, как веселая нянька. Коле снилось, что он на палубе, над головой гудит тугая парусина косо развернутых для крутого бейдевинда марселей и брамселей, а в лицо летит соленая пена. Иногда сквозь сон слышал он звуки, похожие не то на утробное рычание пантеры, не то на сдавленные рыдания мучеников в аду (это или снова страдала тетушка, или рокотала снаружи штормовая погода), но очнуться полностью не мог. Проснулся лишь утром, когда за круглым стеклом летел зеленовато-серый сырой воздух.

Лампа моталась у потолка, будто одуревший маятник, и не горела: видно, погасла от качки. У тетушкиной койки валялись на полу влажные полотенца (Коля поморщился). Но зато тетушка спала. Лицо ее было похudevшим и светло-серым, но спокойным. И дышала она, кажется, ровно.

Коля решил, что грешно упускать момент. Танцуя на уходящем из-под ног полу (то есть на палубе!), натянул он сапожки, сунул руки в суконные рукава, отпер дверь и при новом качании захлопнул ее за собой. В узком коридоре было полутемно и пахло кислым. Коля, толкаясь ладонями то об одну, то о другую стенку, добрался до крутой лесенки (именуемой, конечно, трапом). Дождался перерыва между двумя размахами волн и стремительно взбежал наверх.

Он оказался на узкой палубе, протянутой вдоль каютных окон. Над медным решетчатым ограждением взлетел гребень, ударил по щекам шипучей солью. Коля тихо взвизгнул. Вцепился в мокрый поручень, вытянул шею навстречу ветру. Море было сизо-зеленым, с длин-

ными изгибами пены. Вздрыбленное, мчащееся куда-то. И небо мчалось. Серое, но вовсе не унылое. В этой серости была пестрота! В ней мешались пепельные, серебристо-дымчатые и почти черные, угольные клочья и мохнатые облачные туши. Ворочались, клубились, летели. Сквозь них иногда проскакивала желтизна...

Однако отсюда видна была лишь половина моря. И Коля метнулся по новому трапу, выше! Он очутился на самой верхней палубе, неподалеку от гудящей фок-мачты. Швыряла в низкие тучи свой черный дым громадная желтая труба с эмблемой РОПИТа. Но Коля глянул на нее лишь мельком. Он встал на пустой палубе, навалившись грудью на трубчатый релинг, и смотрел только на море. Оно победно ревело со всех сторон, и ветер ревел. Он старался оттащить мальчишку от поручней, но тот держался и весело мотал головой. Волосы отлетали назад. Они были в брызгах, потому что брызги эти густо летели навстречу даже здесь, наверху. Одежда пропиталась сыростью – как и положено при морских передрягах. Коля восторженно наблюдал, как длинный желтый бушприт с белым носом то устремляется в подножие встречной шипучей волны, то чуть ли не втыкается на взлете в крутящиеся облака. И холодно вовсе не было! А влажные запахи моря просто распирали легкие!..

– Откуда вы здесь взялись, молодой человек? – Голос был густой и громкий, под стать морю. Это возник рядом человек в наглухо застегнутом плаще – блестящем, как жидкая смола. В остром капюшоне. Лицо под капюшоном показалось симпатичным – вроде как у Николая Федоровича, помощника доктора Валахова. И Коля ответил бесстрашно:

– Я из каюты номер четыре, господин капитан.

– Не лучше ли вам было остаться в этой каюте? Погода не для прогулок.

– Нет, что вы! Ничуть не лучше! Я хочу посмотреть! Я такого еще не видел!

– Вот как! И вас не пугает возможность быть сдутым за борт?

– Я держусь изо всех сил!

– И не страшно?

– Нет!.. А это настоящий шторм?

– Вполне... Хотя и не из самых сильных... Взгляните левее, видите высокий берег? Это мыс Тарханкут. Здесь часто бывают такие переделки, особенно осенью... А вы первый раз в море?

– Я плавал по Финскому заливу до Петергофа, но в такую погоду не попадал. Ни разу так не повезло, господин капитан...

– Мне кажется, в вас есть морская косточка... Только я не капитан, а вахтенный штурман. Василий Васильевич Хлебников. А вас как зовут, сударь?

Цепляясь за релинг, Коля все же постарался сдвинуть каблучки:

– Николай фон Вестенбаум, господин штурман.

– О!.. И что же, фон Вестенбаум, вы путешествуете один?

Коля уже готов был объяснить, что путешествует со своей замечательной тетушкой, у которой лишь один недостаток – подверженность морской болезни. Однако Татьяна Фаддеевна появилась здесь сама. Видимо, страх за племянника оказался сильнее всех страданий, и она одолела их в отчаянных поисках мальчишки на взбесившемся от шторма пароходе. На лице ее читалась мука, в движениях – слабость, и все же главным было сдержанное негодование.

– Николя! Это... выходит за пределы всяких приличий! Как ты смел? Я запретила уходить из каюты!

– Но только до утра! А уже утро!

– Несносный мальчишка... Ай!

– Держитесь, Тё-Таня!... Василий Васильевич, это моя тетя Татьяна Фаддеевна!.. Тё-Таня, это вахтенный штурман Василий Васильевич Хлебников!

Штурман Хлебников поднес два пальца к капюшону. Тетушка, вцепившись в трубку поручня, сделала судорожный кивок. Юбка ее трепетала, как знамя.

– Весьма приятно, сударь... Простите этого негодника... Николая, марш вниз!

– Но тетя, – лукаво сказал Коля. – Здесь капитанский мостик. На нем командуют не дамы, а морские офицеры.

– Я тебе покажу... даму... Господин штурман, велите этому негоднику спуститься в каюту. Он промок, и у него слабые легкие.

– В самом деле, Коля. Вы уже довольно полюбовались стихией... – Затем штурман нагнулся к нему. – Надо снисходить к женским слабостям...

– Да. Я сейчас... Только скажите, а скоро уже Ялта?

– Еще весьма не скоро. Погода задерживает нас. К тому же мы, увы, сделали промашку, не загрузили полностью бункера, случилась нехватка угля...

– А паруса в помощь машине поставить нельзя? Рангоут, кажется, позволяет... – Коля с видом знатока глянул на фок-мачту с двумя длинными реями.

– Иногда мы так и делаем, но сейчас-то ветер встречный...

– Ах да! – Коля смутился из-за своей промашки, но тут же с тайной надеждой задал новый вопрос: – Значит, нас может выбросить на берег?

– Ни в коем случае! – Хлебников глянул на Татьяну Фаддеевну. – Однако может случиться, что угля не хватит до Ялты и придется заходить в Севастополь...

– Но это же замечательно! – возликовал Коля.

– Для кого как...

– Николая! Ты испытываешь судьбу! И меня.

– Иду... Прощайте, господин штурман. Спасибо...

– Прощайте, фон Вестенбаум. Всего доброго, сударыня, держитесь за племянника. К сожалению, не могу покинуть мостик и проводить... Коля, подожди-ка! – Это было так неожиданно! Хлебников откинул вдруг капюшон, снял черную фуражку с широким кожаным козырьком и узким подбородочным ремнем. Покачнувшись, нахлобучил на Колю. – Носи, юнга! На память о морском крещении. И за смелость...

Мог ли он мечтать о *таком!* Чтобы настоящий моряк на настоящем морском судне подарил ему настоящую капитанскую фуражку! И не просто так, а в награду! За то, что не боялся шторма, когда все другие пассажиры полегли по каютам...

От счастья Коля размяк и сделался послушным. В каюте он безропотно позволил тетушке стащить с него влажную одежду и закутать его в плед. Затем проглотил ложку приторного лечебного ликера («Поскольку горячего чая сейчас ни у кого не допросишься»). Потом он сидел, втиснувшись в угол между каютной переборкой и спинкой дивана, держал на коленях фуражку и гладил ее, словно кошку. Разглядывал на ней каждую мелочь: медные пуговицы, петельки на ремешке, тисненую латунную эмблему со скрещенными якорями...

– Он сказал, что у меня морская косточка. А вы говорили: «Ты никогда не станешь моряком».

Собрав остаток сил, тетушка назидательно разъяснила, что выскакивание на палубу во время ужасной погоды (без спросу!) – это вовсе не путь к овладению морской профессией. А путь – старательное прохождение всех наук в морском учебном заведении. Но море, видимо, было несогласно с госпожой Лазуновой. Оно вздыбило пароход, затем повалило его набок, и Татьяна Фаддеевна со стоном полегла на постель, отдавшись новому приступу страданий...

К Севастополю подошли вечером. Ветер к тому времени поутих, волнение ослабело, облака на западе разошлись, и солнце выбросило из-под них лучи громадным, в полнеба, веером. Освещенный ими город на берегах Северной бухты показался Коле чудом. Издали не было видно разрушений. Белый камень строений отражал золотистый ласковый свет, и невозможно было представить, что почти все здания разбиты, пусты и мертвы. Тем более, что в бухте шла обычная морская жизнь: ныряли среди зыби ялики, дымили высокими трубами паровые

катера, два закопченных буксира неторопливо разворачивали у берега с приземистым каменным фортом длинный черно-белый пароход (кажется, иностранный).

На якорь стали, когда солнце уже ушло. По берегам и на плавучих бочках задрожали разноцветные огоньки, на дальней горе замигал красный маяк...

К борту подошел вельбот, матросы помогли пассажирам спускаться по шаткому трапу. Коля-то сошел, конечно, сам, а тетушку держали сзади и спереди. Потом подали вещи. Короткая зыбь резко встряхивала шлюпку, черная вода пахла йодистым рассолом, а с берега несло запахом теплых камней и сухих листьев...

То, что зашли в Севастополь, Татьяна Фаддеевна сочла милостью Господней. «До Ялты я живой не доплыла бы...» Решено было остановиться здесь на два-три дня. Это даже хорошо, что так получилось. Ведь все равно пришлось бы из Ялты приезжать в этот город. Не могла же Татьяна Фаддеевна, оказавшись в Крыму, не посетить место, где погиб брат, не побывать на его могиле!

– И вообще... я полагаю, долг всякого русского человека – побывать здесь при первой возможности и почтить память всех, кто полег в эту землю во время героической обороны, – строго сказала она Коле. А он разве спорил? Наоборот! Он считал в точности так же, только не смог бы высказать это столь торжественно...

Пассажиров, сошедших на берег, было немного. На пристани сразу подступили к ним несколько бойких приказчиков, предлагая поселиться в гостиничных номерах. Через полчаса Татьяна Фаддеевна и Коля уже заняли комнату в «Пансионе г-на Тифокина» – длинном двухэтажном доме неподалеку от разрушенной Николаевской батареи. Когда подъезжали на пролетке, Коля заметил в свете желтого фонаря, что левое крыло пансиона представляет собой развалины, однако главная часть здания оказалась вполне приличной гостиницей. И ужин в номер принесли по первой же тетушкиной просьбе. И даже ванна была – правда, одна на несколько номеров и за особую плату...

Утром поднялись поздно. Зато Татьяна Фаддеевна чувствовала себя уже бодрой. Коля – тем более. Решено было, что после завтрака первым делом отправятся на Северное (или, как его еще называли, Братское) кладбище. Долг прежде всего.

Погода была такая же теплая, как в Одессе. Так же шуршали на камнях листья акаций и каштанов. Только больших деревьев было мало. Зато много мелкой и по-летнему зеленой поросли у каменных заборов и разбитых, с пустыми окнами домов. В колючей траве желтело густое мелкоцветье. Ветер почти стих, в желто-серых облаках всюду светила синева.

От знаменитой Графской пристани с ее уцелевшей колоннадой и мраморными львами переехали на ялике на Северную сторону. Заросший седой щетиной яличник в рваной морской фуражке размахисто махал веслами и ухитрялся ловко ставить шлюпчонку скулой к наиболее дерзким гребешкам все еще не улегшейся зыби – так, что ни один клочок пены не попал на «барыню» и мальчика. Гребец охотно отозвался на тетушкины расспросы и поведал, что в войну был на разных батареях, а в конце осады – на Третьем бастионе, где «англичан мы откинули с большим для них срамом, и ежели бы так везде, то город бы не отдали ни в коем разе, вот вам крест».

Резкую короткую качку от зыби Татьяна Фаддеевна перенесла мужественно.

Получив от «барыни» небывалую плату – серебряный рубль, – яличник сказал: «Покорнейше благодарим, дай вам Бог всякой радости» – и подробнее объяснил дорогу, «хотя чего говорить, ступайте все прямо да прямо, а ежели угодно, то там, повыше, бывают извозчики».

Татьяна Фаддеевна не стала брать извозчика, ей, видимо, представлялась, что пеший путь будет данью уважения погибшему брату.

Версты две шли кремнистой дорогой – то пустырями с пыльной колючей травой, то вдоль белых каменных изгородей и сложенных из такого же камня хаток. Кладбище лежало на плос-

ком бугре. Больших деревьев не было, но бугор покрывала желто-зеленая шуба густой поросли. Даже издалека видно было, какие там джунгли.

– Господи... Николая, где же мы там отыщем Андрея Фаддеевича...

Оказалось, однако, что все не так уж сложно.

Вход на кладбище отмечен был двумя каменными пирамидами. Рядом стояла сложенная из пористых камней сторожка. Вышел похожий на яличника седой сторож (наверно, тоже ветеран). Татьяна Фаддеевна, поздоровавшись, объяснила что к чему.

– Та заходите, сударыня. Заходи и ты, паныч...

В комнатухе старик извлек из сундука большущую растрепанную книгу, начал с бормотаньем водить скрюченным пальцем по страницам. Потом с усилием распрямил спину:

– А чего глядеть, я и так всех помню. Поручик Весли – это ведь из тех, кого привезли первыми сюда, на Северный-то край... Извольте, я покажу. Только тропинки туда почти нету, редко кто бывает нынче...

В самом деле, пришлось пробираться сквозь заросли дрока, пригибаться под низкими ветками кизила, смахивать с лица чешую сухих листьев акации, шагать через чертополох. У тетушки оторвалась от подола оборка, у Коли разорвался над сапожком чулок, нудно зудели под ним царапины.

– Сколько всего понарастало за двенадцать-то лет, – виновато покряхтывал сторож. – А вначале была голая глина... Вот оно, здесь, подойдите, сударыня... Обратную дорогу сыщете без меня?

– Найдем, найдем. Спаси вас Бог, голубчик...

Холмик затерялся в высокой траве с мелкими синими цветами. Над травой прямо, по-военному, стоял плоский серый камень – в давнюю пору позаботились друзья-офицеры. Хорошо видна была выбитая надпись:

Поручикъ  
АНДРЕЙ ФАДДЕЕВИЧЪ ВЕСЛИ  
Убить 5 октября 1854 года  
*Всехъ исполнившихъ долгъ  
да приметъ Господь*

– Сними фуражку, – строгим шепотом сказала Татьяна Фаддеевна.

– Ой... – Коля торопливо сдернул капитанку.

Татьяна Фаддеевна встала на колени. Коля помедлил чуть-чуть и опустился тоже. Тетушка шептала какую-то молитву. Коля, по правде сказать, никаких горьких чувств не испытывал, но тоже пошевелил губами. Молитв, кроме «Отче наш», он до конца не помнил, а эта казалась здесь неподходящей, и он прошептал просто:

– Господи, пусть у тебя на небе будет хорошо моему дядюшке Андрею Фаддеевичу. Правда, я его никогда не видел, но знаю, что он был храбрый офицер... – И мелькнула в голове непрошенная добавка: «Не то что я...»

«Но я же не струсил в море!» – сердито возразил он себе.

«А в других случаях? А в корпусе?..»

«В корпусе – это не трусость. Это...»

«Что?»

«Ну... я не знаю. Господи, прости меня, если можно. Я постараюсь впредь быть... ну, тверже в душе, да. Правда...»

Татьяна Фаддеевна тронула его за плечо.

– Идем, Николая... Надо бы здесь привести все в порядок, но боюсь, что не под силу...

Они пошли обратно. Через заросли, потом по тропинкам, потом по главной дороге, мимо недостроенного громадного храма-памятника, который обещал стать похожим на египетскую

пирамиду. У выхода снова зашли в сторожку. Старик смотритель, получивший, как и яличник, серебряный рубль, заверил, что приведет могилу поручика Весли «в самое надлежащее состояние, не сомневайтесь, сударыня»...

Вернулись в пансион, и Татьяна Фаддеевна до обеда зашивала прорехи. Пообедали в маленьком ресторанном зале. Затем отправились в Михайловский собор, что подымался среди пустых разбитых домов на Екатерининской. Татьяна Фаддеевна заказала панихиду по брату. Они отстояли в почти пустом храме короткую поминальную службу, одарили у выхода мелочью нескольких нищих и в расхлябанной извозчицкой коляске поехали на Малахов курган.

Лошадка двигалась неспешным шагом. Между плит стояла сухая трава. Кое-где торчали у тротуаров совсем облетевшие, казавшиеся обугленными деревья. Медленно двигались назад пустые, с темными провалами окон здания. Некоторые даже сейчас были красивы, будто строения Эллады или Древнего Рима – с колоннами и портиками, с остатками барельефов на фронтонах. Изредка заметны были в домах застекленные окна, попались на глаза даже две или три магазинные вывески, но они лишь подчеркивали всеилие и громадность развалин.

– Пустыня... – вполголоса произнесла Татьяна Фаддеевна. Коля молчал. Развалины и пугали, и притягивали. Было в мертвом городе что-то манящее. Да нет, не в мертвом. Чудилась в пустых домах своя жизнь, только особая, таинственная. «Чоп, чоп, чоп», – равномерно стучали о плиты копыта, и похожее на удары колотушек эхо отскакивало от стен.

Все дома были сложены из брусьев местного известняка – инкерманского камня. На них давно уже не осталось следов гари. Дожди их вымыли, ветры выскоблили камни. Развалины белели так же чисто и сухо, как белеют конские черепа в знойных, безводных степях.

Кое-где вместо зданий, разбитых, но сохранивших формы, лежали просто груды камней – тоже белых и чистых. Сквозь них торчали высокие сорняки.

– Господи... Можно представить, какой ужас творился здесь *тогда*, – опять заговорила Татьяна Фаддеевна.

Коля не откликнулся, но попытался представить – грохот, крики, стоны вместо тишины. Оранжевые вспышки и черные клубы вместо белых камней (черный и красный всадники!) Так оно и было, конечно. Вон сколько следов от ядер на стенах. И неровные дыры, и отпечатки чугунных шаров. Колин взгляд почему-то особенно притягивали эти отпечатки – их круглая аккуратность. Гладкие шары, не пробив стену, отскакивали и оставляли в камне ровные, словно отшлифованные внутри ямки...

– А вот, господа, ежели угодно, дом Эдуарда Иваныча Тотлебена, который, значит, во время осады строил укрепления, – вдруг подал голос извозчик (сипловатый и, кажется, пьяненький мужичок). – Первый помощник был у Павла Степаныча...

– Он и сейчас здесь живет? – сунулся Коля с вопросом (довольно глупым, как он понял потом). Дом сохранился лучше других, заметны были следы ремонта, в нижнем этаже блестели стекла.

– Сейчас он генерал-губернатор в Одессе, – строго отозвался мужичок. – А может, нынче еще куда определили, нам не сказывают... А в доме, говорят, будет вроде как кунсткамера или музей, где выставят всякие вещи и трофеи, что остались от осады. И даже фуражку Павла Степаныча, пулей пробитую... И описано будет, что и как, чтобы заезжие господа вроде вас, у которых есть интерес, могли про все узнать в подробном виде...

Колю царапнуло это «заезжие господа». Неловко чувствовать себя на месте боев любопытным гостем. Он хотел было ответить извозчику про погибшего здесь дядюшку (ну, пусть это не кровный дядюшка, но все же родственник). Однако не решился.

Слева между развалинами порой проблескивала зеленовато-синяя вода Южной бухты. Потом дома расступились на целый квартал, и бухта с поворота улицы сделалась видна чуть ли не целиком. Вот уж там-то не было никакой тишины и мертвечины! Сновали катера, вельботы и ялики. Дымили у пирсов два закопченных парохода. Паровой катер с натугой волок посреди

воды длинную, с двумя рядами бортовых люков баржу без мачт. Кажется, бывший фрегат (Коля убедился в этом, когда мысленно выстроил над осевшим корпусом рангоут).

На другом берегу подымались длинные строения и эстакады, на них мельтешило множество людей. Это РОПИТ восстанавливал старые и строил новые доки. Вдоль воды тянула подвод с бревнами вереница лошадей. Ухали тяжелые удары, пересыпаемые дробным металлическим звяканьем. Казалось, что звенят солнечные блики – лучи, пробив облака, швыряли на воду искрящуюся чешую.

Коля загляделся, перегнувшись через край коляски, и конечно же услышал:

– Николя, ты вывалишься под колеса.

Ох, когда же его перестанут считать маленьким?

«Могли перестать, кабы не сбежал от корпуса...»

«Я разве виноват, что в легких открылась хворь?»

«Ты сбежал до хвори. Так что не крутись, не вертись...»

Тут, к счастью, начался спуск к бухте, колеса и подковы застучали чаще, тетушка ухватилась одной рукой за сиденье, другой за Колю...

По широкой дамбе – по Пересыпи, – которая отделяла оконечность бухты от заросшей пустоши, переехали на Корабельную сторону. У дамбы Коля заметил несколько большущих ржавых якорей и пушечных стволов – они, никому не нужные, лежали в грязи. Но разглядывать было некогда.

На Корабельной стороне сперва ехали вдоль могучей полуразрушенной стены старых доков с засевшими в камнях ядрами. Потом взяли правее. Здесь тоже хватало развалин. Только они были мелкие, одноэтажные. И среди них встречались там и тут вновь отстроенные аккуратные хатки под оранжевой черепицей – жизнь брала свое. Горланили петухи, жевали сухую траву у каменных заборов клочкастые козы.

Вот и курган. Тот самый знаменитый Малахов? Невысокая горка. Наверх ведут перекошенные каменные ступени и глинистая дорога. Отпустили извозчика, пошли пешком, хотя он предлагал довести «до макушки».

Здесь тоже паслись козы, хозяева которых, видимо, пренебрегали знаменитостью этого места.

– Тё-Таня, смотрите! – Из травы с сухими зубчатыми листьям поднимался памятник, о котором Коля слышал не раз. Каменная пирамидка с черным деревянным крестом. На кресте надпись по-французски:

8  
*Septembre*  
1855

Unis pour la Victoire,  
Du Soldat c'est la Gloire!  
Reunis par la Mort,  
Des Braves c'ect le Sort!

Если бы Коля даже не знал языка, он все равно не ошибся бы в том, что написано. Перевод надписи был известен всем:

Быть заодно для победы  
И смертью соединиться вновь –  
Вот слава солдата,  
Вот удел храбрецов!..

Это по приказу генерала Мак-Магона (странно: француз, а фамилия шотландская!), чья дивизия взяла курган, положили в братскую могилу вместе русских и французских солдат, погибших здесь в последней схватке. И поставили общий памятник... Да, что ни говорите, а французы были благородными противниками. В отличие от наглых и не очень-то доблестных англичан, которые не снискали славы ни на одном бастионе...

Татьяна Фаддеевна шепотом прочитала надпись, перекрестилась и взяла Колю за плечо.

– Я думаю, после всего, *что* здесь было, люди поняли, какой грех они совершили перед Создателем, и не допустят больше никаких войн. По крайней мере, на этой земле, где и так больше костей, чем глины...

Коля согласно молчал. Он был не из тех, кто мечтает о бранных подвигах. Ну да, читать про войну интересно, и играть в нее бывает увлекательно, и случается, что надо воевать, если дело касается защиты справедливости (кто их, французов и англичан, звал сюда, на нашу землю!). Однако же, если представить всерьез, радости тут никакой – всаживать в человека штык или решетить его пулями. А подвиги можно ведь совершать и не на войне, а при открытиях неизведанных земель и в борьбе со стихией!.. И хорошо, что все кровавые дела, которые творились здесь, теперь уже в прошлом, поросли травой и стали памятью. И никогда (конечно же никогда!) ничего подобного не повторится. Поэтому можно без тревоги лазать по брустверам и заглядывать в жутковатую черноту амбразур оборонительной башни...

Там и тут видны были осевшие и заросшие насыпи. Рядом с ними – ржаво-черные туши корабельных орудий. Некоторые на перекошенных лафетах, а другие просто так, одни стволы, полузарытые в землю. Коля осторожно трогал их ладонью. Чугун был тепловатым от осеннего солнца.

На свободной от травы площадке темнел выложенный из ядер крест – место, где смертельно ранили адмирала Корнилова (в тот же день, когда погиб поручик Весли). Кое-где стояли столбики с дощечками, на них надписи, обозначающие батареи.

Тетушка, придерживая над колючками подола, едва поспевала за неугомонным мальчишкой.

– Николя! Ты свернешь себе шею! И я следом за тобой!..

– Нет, что вы! Не сворачивайте!.. Тё-Таня, смотрите, как тут всё вместе!..

В самом деле! Раньше ему казалось, что Малахов курган – громадная гора со склонами длиною в несколько верст, а кругом – широченные, до горизонта пустоши, перерытые траншеями. «Поле боя». На таком поле и должна была разворачиваться грандиозная битва за Малахов курган. А оказалось – всё рядышком. Вот место, где упал от пули в висок Нахимов. Вот батарея Жерве, которую во время штурма захватили французы, но тут же откатились под ударом солдат, которых возглавил генерал Хрулев. Вот оборонительная башня с разбитым верхом. С нее адмирал Нахимов не раз смотрел на позиции врагов, а в подвале ее долгое время была квартира другого героического адмирала – Истомина...

У башни к ним подскочили трое обтрепанных (один даже босой) мальчишек.

– Барыня, купите на память о Малахове! Вот медалька французская, вот пульки от ихних и наших ружей, вот гудзики с мундиров. Разные...

Уже после Коля узнал, что гудзики – это пуговицы. По-малороссийски. А сейчас он торопливо полез в карман армячка, где лежали несколько пятак и копеек. Но Татьяна Фаддеевна сказала поспешно:

– Нет-нет, мальчишки, нам не надо. – И за плечо отвела Колю.

– Тё-Таня, но почему! – взвыл он.

– Потому... Разве *такое* покупают?

– Ну, тогда я сам найду!

И правда, поколупав каблуками сыпучую рыжую землю, отрыл почти сразу несколько острогловых пуль и чугунный черепок – явно осколок бомбы.

– Выбрось немедленно!

– Но *почему*? Я же не купил, я сам!

– Это может взорваться!

– О-о!.. – Коля закатил глаза, пораженный дамской дремучестью в военных вопросах. – *Как* оно взорвется? Это же просто свинец и чугун!

– А как взрываются чугунные ядра?

– Не ядра, а бомбы! Если в них начинка из пороха!

– Здесь тоже может быть... – сказала она уже менее уверенно.

– Ну, Тё-Таня!.. Ну слов нет... – И Коля решительно опустил находки в карман.

Потом они постояли спиной к башне. Лицом к городу. Вечерело. Город под желтым солнцем опять казался живым, не тронутым войной. Блестящими клинками врезались в него длинные бухты, за мысом со знаменитым Константиновским фортом до самого горизонта искрилось море. Хоть и далеко оно, а морской запах был ощутим и здесь. А еще пахло сухой горькой травой, названия которой Коля не знал... Он вдохнул этот воздух. Вобрал в себя тишину, память и покой этих мест. И вдруг понял, что никуда ему больше не хочется. Поселиться бы в белом домике – вроде тех, что в Корабельной слободке, и ждать весны, читая книги и слушая, как трещит в печке огонь. А весна здесь, говорят, приходит рано. В наступившем тепле можно будет бродить по развалинам, прислушиваясь к загадкам старой жизни. Гулять у моря, отыскивая выброшенные на берег корабельные обломки...

Но разве тетушка согласится!..

Тетушку же теперь беспокоило одно: найдется ли извозчик для обратного пути?

К счастью, нашелся. Все тот же мужичок. Стоял внизу, дожидаясь, не появятся ли седоки с «Корабелки» до города. Обрадовался...

Обратно ехали резво. Колю клонило в сон. В гостинице он сказал, что совсем не хочет есть, и лишь под нажимом встревоженной тетушки сглotal принесенную в номер гречневую кашу и выпил молоко. И сразу лег. Татьяна Фаддеевна то и дело трогала его лоб. Жара не было.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.